

Михаил Тарковский — это настоящее, непридуманное, родное. То же пронзительное чувство было, когда читал «Последний срок» Валентина Распутина. Не чаял, что еще раз такое случится.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

ТОЙОТА КРЕСТА



# Михаил Александрович Тарковский

## Тойота-Креста

### Серия «Претендент на бестселлер»

*предоставлено правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=17097245](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17097245)*

*Михаил Тарковский «Тойота-Креста». Серия «Претендент на бестселлер!»: Издательство «Э»; Москва; 2016*

*ISBN 978-5-699-84810-2*

### **Аннотация**

Этот роман – знаковое для автора произведение. Ранее с перерывом в несколько лет были отдельно опубликованы две его части. В этом издании впервые публикуются все три части романа.

«Тойота-Креста» – геополитический роман о любви: мужчины и женщины, провинции и столицы, востока и запада. Это книга о двуглавости русской души, о суровой красоте Сибири и Дальнего Востока и о дороге.

Тарковский представляет автобизнес и перегон как категории не экономические, но социокультурные; описывает философию правого руля, романтический и жесткий образ жизни, сложившийся на пустынных сибирско-дальневосточных просторах к концу XX века.

# Содержание

Прелисловие	5
Часть 1	16
1	17
2	21
3	26
4	31
5	39
6	43
7	50
8	57
9	63
10	69
11	72
12	76
13	80
14	84
15	92
16	101
17	112
19	118
20	120
21	122
22	123

23	125
24	126
25	127
Часть 2	128
Глава 1	128
1	128
2	131
3	140
4	150
5	163
Конец ознакомительного фрагмента.	164

# Михаил Тарковский Тойота-Креста

## Прелислобие Большая страна Михаила Тарковского

Говоря о Михаиле Тарковском, всегда подчёркивают, что он, во-первых, племянник одного Тарковского (режиссёра) и внук другого Тарковского (поэта), во-вторых – сбежал из Москвы, едва окончив столичный вуз, и вот уже лет тридцать живёт в далёком селе Бахта Туруханского района Красноярского края, где стал профессиональным охотником.

Мне представляется, что самому Михаилу эти обязательные упоминания порядком надоели. Но для понимания его жизни и природы его творчества это действительно важно.

Тарковский осознанно сломал ту свою судьбу, которая была предопределена от рождения, и выстроил другую, которая показалась ему достойнее и правильнее. «Никакого дешёвого геройства не было. Если у тебя есть страсть, мечта и ты её осуществляешь, то просто идёшь по пути наименьшего сопротивления. Я делал, что хотел, вот и всё», – так объяснял свой биографический зигзаг Тарковский. Сначала он пере-

стал быть москвичом, став сибиряком; потом перестал быть «внуком» и «племянником», став самостоятельной фигурой – писателем Михаилом Тарковским, в котором нет ничего вторичного по отношению к знаменитым деду и дяде. Хотя, оговаривается Михаил, «в смысле учёбы или наследства – это для меня огромная школа. У них обоих была мощная сила... Подвижническая какая-то, непримиримая».

Книг у Тарковского выходило сравнительно немного. «За пять лет до счастья» и «Заморожённое время», изданные в Москве в начале нулевых, давно разошлись, а «толстые» журналы, в которых фамилия Тарковского появляется регулярно, страдают от дефицита читателей. Благо, в 2009-м издан трёхтомник в Новосибирске – и вот сейчас выходит в московском издательстве «Эксмо» книга, которую вы держите в руках. Добавлю также, что в 2010 году Тарковский получил совсем не лишней (не только для него самого, но и для имеющих и будущих читателей) знак признания – одну из ведущих российских литературных премий «Ясная поляна», а в 2015-м – премию первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству».

Но всё же по большому счёту Тарковский – из тех писателей, чья нынешняя известность, к сожалению, уступает масштабу дара. Отчасти причина этого – в месте и образе жизни Тарковского, намеренно удалившегося подальше от столичных тусовок. Однако, с другой стороны, те же самые место и образ жизни – тайга, Енисей, охота – как раз и сформирова-

ли писателя Тарковского. И продолжают его питать. «Живя в Москве, вообще ничего нельзя понять о стране», – говорит по этому поводу сам Михаил. И ещё: «Без Енисея меня бы не было».

Он – из тех немногих наших писателей, у которых руки на месте: может управлять хоть снегоходом, хоть моторкой, срубить зимовьё, добыть соболя, поймать рыбу и много чего ещё. Это как-то очень правильно. Оказавшись в моём владивостокском жилище, Тарковский тут же вызвался отремонтировать неплотно закрывавшуюся дверь, а позже в магазине инструментов объяснил продавцам, как правильно насаживать топор на топорнице. И чуть не взялся убирать снег с крыши музея автомотостарины, которая протекала прямо на раритетные «форды» и «газы», на крышах которых по такому случаю стояли ведёрки.

Писатель Алексей Иванов, выступая за децентрализацию российской жизни, сказал в одном из интервью, что для него оставаться в Перми – свое го рода гражданская позиция. Для Тарковского, мне кажется, жизнь в енисейской тайге – тоже не только личная, но и гражданская позиция. Мне, как убеждённому жителю Владивостока, хочется, чтобы это превратилось в, если угодно, моду.

«Распилыш», публикуемый здесь впервые, – третья часть книги «Тойота-Креста», первые две части которой выходили в журнале «Октябрь» в 2007-м и 2009-м. С «Тойоты-Кресты» да ещё с «Гостиницы «Океан» («Новый мир», 2001 год)

началось моё знакомство с Тарковским – сначала заочное, литературное. Читая эти его вещи, я испытывал два главных чувства: восхищение и ревность. И восхищение, и ревность относились к одному. К тому, как сибиряк московского происхождения, к тому же не горожанин, сумел первым (если вообще не единственным) столь мощно раскрыть «нашу дальневосточную тему». То есть – философию правого руля, автобизнес и перегон как категорию не экономическую, а социокультурную; тот образ жизни, который сложился на пустынных сибирско-дальневосточных просторах к концу XX века. Никто из приморцев, сахалинцев или хабаровчан эту тему почему-то не поднял – по крайней мере, с такой силой и с такой глубиной. Поэтому моё восхищение сумело одолеть ревность. Впрочем, и ревность была «белой».

«За что я люблю праворукие машины? Праворукими машинами я пытаюсь призвать западный московский мир одуматься, вспомнить, что есть параллельная русская страна, по отношению к которой Москва – зазеркалье, – рассказывал Тарковский в интервью Захару Прилепину. – Перед моими глазами всегда стоит картина: улица по склону сопки, кривой домишка, «корона» 91-го года цвета китовой кости, а сзади синяя даль, горы в насечке тайги, бескрайняя вода. И какой-нибудь Гена или Валера, обветренный, с трудовыми побитыми руками садится в эту самую «корону» и едет в садик. За дочей...»

Читая «Кресту», я никак не мог предположить, что спустя

какое-то короткое время её автор приедет «перегонным» поездом № 8 во Владивосток и остановится у меня дома, став теперь не только одним из любимых писателей, но и другом. Что мы вместе с ним ходим к той самой гостинице «Океан», в реальности оказавшейся гостиницей «Приморье» на Посьетской, посетим Зелёный Угол и ряд других неслучайных мест. Что некоторые из событий, изображённых в «Распилыше», будут разворачиваться у меня на глазах – как, например, сцены в гостинице «Гранит» или на автостоянке в районе Змеинки. Что ранним морозным утром мы попрощаемся на «Заре», и Тарковский на только что купленном дизельном «сурфе»-конструкторе в 185-м кузове в одиночку отправится по обледенелой дороге в сторону Красноярска. И будет отзваниваться по мере продвижения – то из Хора, то из-под Биробиджана, то откуда-то из-под Читы... А «Распилыш» я потом прочитаю одним из первых – в электронной рукописи, которую Тарковский пришлёт из Бахты.

«Распилыш» – книга большая не в смысле постраничного объёма и даже не с точки зрения проблематики (от повышения пошлин и возможного запрета правого руля до повторения на новом историческом витке распутинской темы затопления сибирских деревень). В «Распилыше» присутствует трудноуловимое ощущение огромной страны – от Балтики до Япономорья, да не с самолёта увиденной через слой облачной ваты, а прощупанной, истоптанной, проеханной на японской праворульной машине. «Трасса, гудящая серая

жила, на карте пересекающая Сибирь жирной чертой, а в жизни – узкое, в два кузова, полотнышко, тонкой асфальтовой плиткой лежащее на гигантской бочине Земли» – таким увидел Тарковский перегон. И ещё: «Невообразимая красота, суровость, ощущение движения, мысли, бурная внутренняя жизнь, особенно ночью, когда почти нет фар и теряется ощущение реальности». Однажды Михаил рассказывал: «Жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке по сравнению со столичной – другая. Более голодная, нищая, убогая... Все эти гостинки, промзоны, теплотрассы, просто идёт какое-то выживание – и вдруг видишь «тойоту-краун ройяль салон»! Ты-то понимаешь, о чём речь? Когда ты любишь это пространство как не знаю что, для тебя эти машины становятся символом».

Одновременно с ощущением огромной страны у Тарковского присутствует и ощущение зыбкости этой огромности.

«Пророчества про распад Отечества мне необыкновенно больно слышать, и что-то во мне кричит против того, чтобы и я это пророчил. Наверное, я страус. Я не желаю порой видеть и слышать того, что происходит, того, чего все ждут, – признаётся Михаил. – Но я понимаю, что происходит. Что нас – всё меньше с этой стороны Урала, да и с той тоже. И пишу об этом, и говорю. И о духовном, и о физическом распаде. Но что-то в душе орёт о том, что этого не может и не должно быть! Помнишь, у Гумилёва: «Я, носитель мысли великой, не могу, не могу умереть». Вот оно. Россия как носи-

тельница великой мысли не может умереть. Это эмоция. Но не могу по-другому! Зачем жить-то тогда?»

Разрозненные, редкие места невеликого скопления русских людей оказываются у Тарковского прочно связанными друг с другом какой-то внутренней связью наподобие электрической («Здесь единое какое-то поле. И по языку – тоже. На пространстве от Новосибирска до Южно-Сахалинска живёт какая-то общность людей, друг друга понимающих, говорящих на одном языке»). И в то же время этот раскиданный человеческий архипелаг кажется гигантским, континентального размера трагическим «распильшем». Помню, как во Владивостоке Тарковский сразу же ухватился за это слово – «распил», «распильш», моментально услышав в нём многомерность. Распиленность чувствуется и в главном герое книги Жене Барковце («Так и не сшил я ни куски своей жизни, ни лоскуты земли родной...»), и в его долгожданной встрече с братьями. «Распилы» и «откаты» ущербной новорусской политэкономии здесь тоже очень даже при чём, и «распыл» тоже. Тарковский обладает чутьём на неожиданные меткие образы, и сама «креста» не случайно рифмуется у него с русским крестом (и в смысле православия, и в смысле судьбы), даже если её японские создатели об этом не знают.

«Русские больше знают о японских машинах, чем мы!» – удивлялся после беседы с Тарковским владивостокский корреспондент «Киодо Цусин» Осаму Хирабаяси. И просил уточнить, что такое «виноград», «хорёк» и «сайра». «У вас

дома Toyota Cresta?» – спрашивал он. «Нет, – отвечал Михаил, – у меня в Бахте «ГАЗ-66», но мы там на снегоходах в основном ездим. А «сурф» нужен для Красноярска и окрестностей».

На улицах Владивостока Миша внимательно рассматривал, кажется, все машины без исключения. Особо останавливаясь на роскошных «маджестах», редких «мицуоках», лифтованных «крузаках»-«восьмидесятках», крепко сбитых «деликах»...

– Посмотри: «Скай» в новом кузове. Без круглых стопорей – он, конечно, другой, но тоже красивый и какой-то... Убедительный! – говорил он. – А вон, смотри, «марк»-чернотой – такси!

Не раз мы встречали заглавную героиню книги Тарковского – белую «кресту» в 90-м кузове. И изящного «блита», на котором Женя Барковец передвигается в третьей части – «Распильше».

Трилогия «Тойота-Креста» для Тарковского – особая. Во-первых, это на сегодняшний день самая большая книга Михаила. Во-вторых, прежде он писал рассказы, повести и очерки в основном о Енисее, о Бахте, об охотниках («Стройка бани», «Кондромо», «Отдай моё», «Бабушкин спирт», «Ложка супа», «Енисей, отпусти!»...). «Креста» – проза уже, можно сказать, «городская». Действие, впрочем, разворачивается чуть не на всём русском континенте – от Курил до Москвы. Новый материал потребовал особой манеры пись-

ма. «Распильш» – даже не проза, а почти поэзия. Кое-где эта поэтичная проза и прямо переходит в стихи, как будто самолёт набирает такую скорость, при которой уже не может бежать по земле – только лететь.

У Тарковского редкое чувство языка, к тому же его проза расцвечена сибирскими словечками, которые так и хочется повертеть, попробовать на слух и на вкус (а «Распильш» вобрал в себя и многие чисто владивостокские выражения), и в то же время это – не лёгкое «диагональное» чтение. В Тарковского нужно погружаться по-честному, поверхностным ознакомлением не отделаешься. «Надо освобождаться от языковой зависимости и писать, как Чехов, как Пушкин или как Шукшин. Писать так просто, как будто языка вообще нет, – размышлял Тарковский. – А с другой стороны, такая сила в художественной прозе, что в коротком абзаце можно дать целый огромный мир...»

Язык – далеко не единственная ценность «Распильша». Эта повесть – и лиричная, и пронзительная, и в то же время – возвышающая, очищающая. Эта книга – о нас, она – наша. Поэтому, если кто-то не из наших её не поймёт, это ничего: понимай её все с пол-оборота – она перестала бы быть нашей. Но её, уверен, сможет понять и прочувствовать любой человек, у которого будет к этому желание. Потому что эта книга, как и положено всякой хорошей книге, – не только наша, но и всеобщая. Может быть, главное, о чём эта книга, – о Вере, как бы странно это ни звучало на первый взгляд. О

тех сокровенных вещах, о которых стесняешься говорить, а иногда и думать. По сравнению с прозой Тарковского многие другие – пусть хорошие – авторы могут показаться слишком заикленными на себе и на текущем моменте. «Тарковский – это настоящее, непридуманное, родное», – сформулировал Захар Прилепин.

Можно бы снять по «Распилышу» хорошее кино. Визуально эта проза очень отчётлива. Только кому за него взяться – непонятно: испортят ведь всё.

Когда я читал «Распилыша» в рукописи, мне хотелось запомнить какие-то отдельные фразы и скопировать их, сохранить, переслать друзьям. Сейчас я это сделаю.

«Что-то дрогнуло в Жене, словно судорога перешла с его собственного на заенисейские хребты, прокатясь до самого города Владивостока, до окончания транссибовских рельс, до Морвокзала, где ржавым бинтом белеет плавгоспиталь «Иртыш» и прозрачно-синяя тихоокеанская вода взлизывает оледенелый берег с ржавыми железяками».

«И вот оказалось: единственное спасительное – признать свою полную духовную немощь, пустоту и нищету. И даже не просто пустоту, а вывернутость наизнанку, выдутость, вымороженность и открытость всему сущему. И лишённость способности иметь что-то своё, личное и внутреннее, кроме этого спасительного покаянного опустения».

«И всё, что не понимала душа, – например, какое отношение к окружающему суровому и сизому простору имеют

южные места, описываемые в Евангелии, – всё перебарывалось восхищением от того, как русская душа приняла и допроявила учение Христа».

«Он и не подозревал, насколько тонка грань между отчаянием и благодатью».

Последнюю фразу можно понимать как эпитафия или ключ ко всему творчеству Тарковского.

*Василий АВЧЕНКО*

# Часть 1

## Кедр

*– Называть машину – восхитительная работа! Сначала «Тойота» давала имена простыми английскими буквами. Потом руководитель компании использовал простые, но осмысленные клички вроде «Мастер» или «Краун». После того, как «Краун» стал популярным, ему понравилось называть все машины с буквы «Си» (читается как «К» или «Ц». – Прим. ред.): «Корона», «Креста», «Королла», «Целика», «Цельсиор». Где-то в 60-х менеджеры по планированию продаж, продвиженцы, инженеры и дизайнеры вошли в «Комитет имянаречения». Сейчас линия моделей на «Си» стала бесчисленной, поэтому используются слова, начинающиеся с других букв.*

**КУНИХИРО УЧИДА.** *бывший директор первого отделения дизайна компании «Тойота». Из интервью корреспонденту «КП Владивосток». 7 дек. 2004 г.*

# 1

Василий Михайлович Барковец возвращался домой на Енисей из отпуска. Скорый Москва – Тында № 76, где он экономно ехал в последнем и единственном плацкартном вагоне, вёз его из Новосибирска в Красноярск. Поезд то летел легко и молодо, то вдруг тяжелел, и тогда застарело и близко отдавался стук колёс, и Василию Михалычу казалось, что он едет рядом с огромным и усталым сердцем.

В Новосибирске Барковец гостил у старого товарища, Романа Сергеича, которого все звали Ромычем. Толстый и одышливый, он никак не вязался с серебристым стрельчатый «марком», на котором они рыскали по городу в поиске запчастей и инструментов для Михалыча. Вздываясь и оседая всем телом, Ромыч сопел, экономя слова и копя их под выдохи, а согласные выстанывал, выкряхтывал, и его «ка» и «ха» задирались шумной коркой.

Обходя пробки, Ромыч пробирался по каким-то своим льдистым разбитым проулкам, с тылу заходя к складам и магазинам. И Михалыч шёл на пытку в очередной ангар, где терялись в непосильном тумане ряды матово-зелёных рубанков и дрелей, морковно-рыжих бензопил и масла всех расцветок – от брусничного до чернильно-зелёного, как налимя желчь.

«Да бросай, Ромыч, к бабаю, в Красноярске возьму», – не

выдерживал Михалыч, а Ромыч, продолжая опадать и вздыматься, цедил сипло, с придыханием: «Да хрен там... в Красноярске... Так же не делается...» – и, исколесив полсибирской столицы, доезжал до очередной бетонной громады, какого-то бывшего цеха, откуда победно доставлял труп Михалыча домой, где под наперчённые пельмени вливал в него пол-литра ледяной алтайской.

Но силы кончались, и даже Ромыч угнетал своей заботой, и когда не сипел, а просто, пята «марковник», озирался, размашисто мяся руль пятёрней, то, казалось, жал, втирал в Михалыча свой пример, свою правду. И корил своим упорством, заботой, тем, что старается не для Михалыча, а сквозь него, дальше, ради уже совсем дальнобойной жизненной хватки, которую нельзя ослаблять ни на час. А Михалыч и сам знал её ближе близкого, но сейчас на неё не было сил, и он ревновал к ней Ромыча.

На перроне Ромыч стоял у вагона, как часовой, со своим вечным всепогодным, всесезонным видом, с каким провожал и встречал Михалыча вот уже лет пятнадцать подряд.

– Жека встретит?

– Встретит.

– Ну, добро, Нинке привет. Всё, – с шелестом осыпались и хрип, и придыхание, только слова стыли над дорогой крупно и выпукло, как название города.

Когда Михалыч загрузился, вагон лихорадило. Там только что очухалась компания работяг, обнаружив, что, пока они

спали, в поезд сели их товарищи по бригаде. Всё потонуло в крике, топоте и объятиях. Мужики не верили глазам и, заварив немислимую бучу по взаимопереселению, объединились в одно токовище. Ехали они в Таксимó – станцию Восточно-Сибирской железной дороги. Грунтовкой она соединялась с Бодайбо, и ребята пахали не то на её отсыпке, не то в одной из бодайбинских артелей.

Ехал в Таксимо и шустрый словоохотливый дедок. Оглядывая попутчиков, он отрывисто двигал головой, по-куриному дробя движение на отрезки и будто ища угол, с какого острее видать собеседника. Его синеватые с веснушками руки были скрючены. «Похоже, промывальщик», – подумал Михалыч, глядя на его распухшие суставы.

Дед тараторил, постреливая глазами, но больше обращаясь к молодой паре, парню с девушкой, которые только что купили копчёную курицу и всех угощали. Разговор зашёл о камушках для перетирки пищи в куриных желудках. Дед называл желудки пупками, и молодые засмеялись. Девушка просто закатилась: за дорогу она так приладилась, так присмеялась к деду, что любое слово доводило её до исступления. Она смотрела как приворожённая, ловя каждый звук, и углы губ вздрагивали, готовые разбежаться.

– Напрасно смеётесь. Пупок – самая главная штука. Девка, трясясь, рухнула парню за спину.

– Кто такой глухарь, все знают? – невозмутимо гнул дед.

– Знаем, как же, – сказал за всех парень.

Дед откашлялся и рассказал, как однажды по осени привёз с охоты двух глухарей и, отдав бабке, пошутил: «Лучше смотри пупки! Он же, глухарь, камешник клюёт, дак ты гляди добром, там золота случаем нету? Ты чо, бабка, не знашь, что на одном прииске золото нашли *согласно глухаря!*»

Девушка зашла от оборота «согласно», Михалыч подивился живучести этой транссибирской байки, а дед продолжил:

– Отошёл, смех давит – невозможно. Вернулся, бабка моя притихла, очки надела и вот копается в пупках. Разложила досконально по кучкам и роется, золото глядит! Потом уже и куриные, и утиные – всякие – выпростает, просмотрит... – Дед вытер слёзы, помолчал и сказал медленно и трезво: – Озолотилися...

## 2

Все как могли убивали время, и только Михалыч его жалел и непробиваемо лежал на диване, покачиваясь вместе с поездом и всем телом ощущая, как туго ящик под ним набит покупками. И сами железяки лежали послушно и плотно, словно знали, что не просто закрыты крышкой, а ещё и придавлены и что нет надёжнее гнёта, чем этот отяжелелый от опыта человек.

Засыпать было жалко, и Михалыч держался на кромке, когда любая мысль готова переродиться в сон, но ещё есть право вернуться к исходной точке. Точкой этой был дом, где восемнадцать сантиметров бруса едва держали давление неба, но нутро глядело таким запасом пережитого, как будто стены были вырублены в крепчайшем кряже. И так неделимы были дом и Нина, что чем трудней становились окрестные люди, тем большим сокровищем казалась эта обжитая женщина.

Больше всего он любил задремать, пока вокруг ещё что-то творится – галдит телевизор или щенок лезет к коту, а тот шарахается, сшибая Нину, и она возмущённо вскрикивает: «Да вы чо сегодня? Совсем трёкнулись!» – и гремит посудой. А потом зевает устало и завершающе, и слышно, как внучка чистит зубы, и ноет чайник на плите, и его комариный голосок сонно делится на кусочки. И всё слито в один затихаю-

щий кровоток, и нет больше покоя, чем вживить в него усталые жилы, заснуть под ним, как под капельницей.

А потом проснуться и слушать ночную тайну дома. Вот щенок с сухим носом пошевелится и вздохнёт, как человек. Кот подмёрзнет и переберётся к Нине, и ноги её встречным движением подстроятся под его тяжесть и чуть раздадутся, чтоб тому было удобней. Вот внучка, не разлепляя глаз, проберётся на горшок, боясь растрясти сон, отстать от него, как от поезда... И чем меньше и беззащитней населяющие дом существа, тем большим чудом покажется жить с ними под одной крышей, пить единую воду, вдыхать воздух, в который с таким старанием вплетают свои струйки резные носы кота и щенка.

– Поднимаемся, кто до Красноярска! Постели снаём! – рванула над ухом проводница новым, студёным голосом, да и сам поезд бежал, сменив ноту и словно отдохнув в беге. За окном заснеженные сопки вздымались с утренней силой, и казалось, земля за ночь подросла и окрепла, требуя того же от человека. Брезжили силуэты города с огнями и заенисейскими горами. Только огни дрожали с доверчивой, детской отчётливостью, и над ними разгоралось ясное небо, и неслись облачка с мутным начёсом под ветер.

На низком и абсолютно пустом перроне стоял с пожизненным видом младший брат Евгений, а потом так же пожизненно тащил сумки по заледенелым ступеням на высокий виадук. А когда братья прошли его половину, у Михалыча

отвязалась лямка от рюкзака, и они замешкались над Транссибом.

Режущая пустота окружила. Плыл запах угля и ещё свой, красноярский, раннеутренний, сернистый, тянущий с завода химволокна, и добавлялся к нему ещё какой-то острый, дизельный, дымный.

Пути уходили вдаль к Енисею, за которым выперло, выморозило каменный уступ, и вздымались сизые горы в насечке леса. К ним крохотно лепились домишки, а одна из сопок отдала им подножье, и у неё у живой выгрызали на стройку песок или щебёнку.

С ритмичным грохотом шёл из Владивостока товарный состав. Виадук вздрагивал, с ножевой остротой тянулись зеркальные рельсы, и Михалычу казалось, дорога прорезает его насквозь. Едва он так подумал, как пошевелились в нём огромные пространства земной плоти и шатнуло так, что он еле удержался за парапет.

Пыхнуло в душу охотским туманом, и прозрачный океан подступил ещё на вздох ветра и синел всего в нескольких тысячах вёрст. Оно так и велось в этих разреженных краях, где расстояния измерялись людьми, и локоть товарища так твердел сквозь оковалок безлюдья, что казалось, чем дальше к востоку, тем не то вёрсты короче, не то люди огромней. Ползли цистерны, улитые мазутом, полз вагон-клетка, и в нём плоско стояли белые морские существа с раскосыми фарами, но вот перестук оборвался, как перебитый молотом,

и его эхо медленно стихло на западе.

Белая «креста» 93-го года с рыжей в шашечках нашлёпкой тронулась легко и беззвучно, чуть вдавив Михалыча в кресло. Ни двигателя, ни смены его дыханий не было слышно, только откуда-то издали доносился ровный гул шипованной резины, отстранённый, как океанский накат или шум порога.

Михалыч знал, что Женя разных пассажиров возит по-разному: женщин – попугивая, чтоб казалось, что рисков, мужиков – пружинисто и расчётливо, если опаздывали в аэропорт, а встреченных – плавно, с заботой, исключаящей пролив водки. Сейчас он вёл для себя.

Женя вышел на заправке, и девушка-пассажирка спросила с заднего сиденья:

– Это брат ваш?

– Брат. А что?

– Интересный... и на водителя не похож.

«Куда там: «не похож!» – подумал Михалыч, – одни тачки да бабы на уме!»

– А на кого похож?

– На артиста... Забыла фамилию...

«Ещё одна! – сплюнул про себя Михалыч. – Точно – артист: ни дома, ни хрена! Давно бы женился на Настьке и жил как человек!»

В прорези приспущенного стекла твёрдо трепетал воздух. И снова наполняло душу одиночеством, неудобством, и было досадно за неё, так ослабшую с дороги. Всё вокруг – посёлки,

белый просвет Енисея и скалистый берег за ним – всё померкло и будто выключилось, и, чтобы озарить вновь эти места, нужно было дотянуться до дому.

Когда на подъёме машина порывалась обойти фуру, Женья легко одерживал её нарыск и вправлял в дорогу. Обогнав тягач, он ловил в прицел тойотовского овала новый срез пустоты, с каждым километром всё цепенеющей от предчувствия Севера. Она всё накупала, и они шли к Енисейску, где трасса кончалась, временно длясь зимником, а дальше не то река, ширясь, уходила в никуда, не то ледовый клин океана подступал заснеженным краем света.

Ближе близкого знал Михалыч эту береговую жизнь, вынесенную на обзор, прижатую к крайнему рубежу, где не спрячешься ни от пьянки, ни от пожара, ни от смерти, ни от наводнения.

И казалось, именно из города, из центра, с запада наступает беда, катится груз греха и чем ближе к краю, тем больше лишается прикрытия. И что дом его на краю жизни уже давно противостоит не ветрам да морозам, а великому и обнажённому несовершенству мира.

### 3

Михалыч, самый старший из братьев, жил в далёком посёлке на берегу Енисея, а Женя – на подступах к Красноярску, в Енисейске, старинном городке, когда-то губернской столице, а теперь спокойном, затихающем, как ветер перед долгим и прощальным вёдром. Младший брат Андрюха, кинооператор, уехал в Москву и прижился там как родной, но свербёж Енисея в нём оказался столь сильным, что не прошло и пяти лет, как он приехал снимать фильм про Сибирь с братом Михалычем в главной роли.

На стоянке перед аэропортом с непробиваемо независимым видом, поигрывая ключами, толклись водилы. Серебристый «диамант» собрал свой гурт – его хозяин, выпятив пузо, плёл историю про баб из пансионата, а компания разражалась конским ржаньем.

Женя зашёл в аэропорт. В дверях курил брат Андрей с косицей на затылке, неоправданно постаревший, перемолотый Москвой до мучнистой бледности. Женя и узнал Андрея не сразу, так что взгляду пришлось помешкать, прежде чем лицо брата расправилось и привычно расположилось вкруг глаз. Братья обнялись:

– Мы багаж ждём. Ребята кофе пьют.

Из-за столика, протягивая руку, поднялся очень большой бородатый человек в очках:

– Григорий Григорьевич.

Борода загибалась о ворот свитера крепко и волокнисто. Сквозь сильные стёкла глаза глядели приветливо, аквариумно-крупно, и их зелёное пламя ходило ходуном.

Лицо женщины, склонённой над документами, ясно гляделось сквозь светлые волосы. Красота его казалась щадящей: обычно хотят черты обострить, а здесь смягчали, прятали за канон, давали время подумать, по силам ли, и, если нет, остановиться. И только идущему дальше открывалась вся власть этой временной неослепительности.

Она подняла глаза и улыбнулась:

– Я Маша. Мы заканчиваем.

Улыбку она будто включила, чуть подержала и убрала. Зубы были крупные, гладкие, притёсанные с породистым наклончиком.

На фоне лица, его масляной смуглинки, края волос светились, будто протравленные, опалённые чем-то сверхъярким, и сама женщина казалась привитой от чужого обаяния и лишь облучала других. Она сидела у стены, прижатая столом, и, держа наготове блокнот, слушала Григория Григорьевича очень внимательно, кивая и быстро смаргивая.

А Евгений вдруг подумал о Насте, о её бледной худобе и о том, что если и поровну красоты у этих двух женщин, то у Насти всю забирают глаза. А Машины глаза ничего не забирали, просто делились с остальным – шеей, грудью, животом, и это остальное говорило не меньше, и разговор был жесто-

ким и сильным. Ноги были до поры скрыты, но он знал, что всего неодоливей будет именно их неименная, слепая красота.

И был безымянно социален весь её облик, и, чтобы сделать своей эту предельно чужую женщину, требовалось изменить что-то в совсем другом краю жизни.

И совсем из другой жизни были дорогие и маленькие серёжки в её ушах, и на губах сальце бесцветной помады, и телефон с дымчатой, полупрозрачной и словно халцедоновой крышечкой, и в её глубине чёрное оконце, где светилось 4:30 московского времени.

Она открыла крышечку, посмотрелась в неё, и, когда чуть повернула голову, сверкнул и медленно перелился лучами бриллиантик в её серёжке. Продолжая глядеть в крышечку, она впало втянула щеки и, приподняв подбородок, сделала движение губами, будто кого-то целуя.

Едва Женя увидел эту пару, ему стало и очень чутко, и очень одиноко. И в этом одиночестве приблизились-заструились былые дороги и дали, и подумалось: как всё знакомо – чуть тронул в одном месте, и так богато отозвалось огромное тело жизни... А ведь никогда не приникал так близко, не касался нежнее.

...Лежал на скальной плоскотине на берегу Тихого океана, где из сизого базальта глядели круглые дыры и в каждом глазу окаменелым зрачком круглился шершавый камень. Светясь туманной синевой, накатывала волна и под-

ступала к ногам, а перед тем как уйти, омывала каменные глаза и вращала по их дну камни-зрачки, и те всё глубже всверливались в камень.

Такие же ступки с камнями знал он и на берегах таёжных речек, только работали они раз в году в большую воду, а до осени круглые свёрла тихо лежали в каменных вёдрах, в дождевой воде. Холодный отсвет покоя лежал и на Машином лице, и хотелось понять, откуда он, и взглянуть той дали в глаза.

Маша вставала, и Евгений ещё на что-то надеялся, хотя всё было ясно по переливу, боковой волне, с которой сыграло её тело в талии, когда она высвобождала его из-за стола. На ней были гладкие отутюженные брюки. Трепеща чёрными флагами, они укрывали острия сапожек, до колен плоско стоя по стрелкам, и кверху сужались, взмывали, выпукло наливались, а у самой развилки чуть расступались изнутри, как перетянутые.

На стоянке Григорий Григорьевич рванулся в правую дверь, увидев там руль, пробормотал: «Какое-то зазеркалье!» и пошёл в обход.

– Женя, это что за машина у вас? – спросил он, усевшись и недоверчиво ощупывая торпеду.

– «Креста», – сказал Андрей.

– Большая, – сказала Маша задумчиво.

– Странное название. Какое-то... своёское.

– Они их специально так называют, – словоохотливо ото-

звался Женя, выезжая со стоянки и упираясь в небольшую кубовидную «хонду», – в Находке агентство есть. Придумывают названия, ну, для русского уха понятные. Например, «ниссан да» и «тойота опа». Или, допустим, «тойота-надя», или «дайхатсу-лиза», или даже вот «хонда-капа».

– Женя, вы всем москвичам голову морочите? – сказала Маша.

– А вы читайте.

Маша взгляделась в комодистый задок «хонды-капа» и вместо ответа издала носовой смешок, нежное фырканье, будто сдались и выпустили воздух какие-то тёплые и шёлковые меха.

– А вы не верите. Вот вы, допустим, Надя или Капа. И вам муж дарит такую машину. Приятно же.

– А «тойота-маша» есть?

– «Марино» есть. И «дина». Даже «мазда люсе». А с Машей крупнейшая недоработка.

– Ну вы уже передайте, чтоб доработали, – сказала Маша, – в... э-э-э... Находку.

Слово «Находка» она произнесла смешно и будто подкравшись – быстрым хватком. Все засмеялись.

«Ну, на недельку-то, за компанию, и поможешь нам, свет будешь таскать, да и вообще, когда мы ещё братьевьями втроем соберёмся!» Григорий Григорьевич даже настаивал, поможете, да и расскажете нам что-нибудь, уж не отказывайтесь. Евгений и не отказывался.

В Енисейске на подходе к почте Григорий Григорьевич, что-то говоря, склонился над Машей, взял её за локоть, и она стряхнула его, а он пожал плечами и сутуло пошёл рядом. На крыльце сидела собака – задком на третьей ступеньке, а передними лапами опираясь на вторую.

– Здравствуй, собака, – очень тяжело и обречённо сказал Григорий Григорьевич.

– Смешно сидит, – улыбнулась Маша.

На почте Настя испуганно вскинула глаза: «Телеграмму? Да, да, конечно», – и Маша потом сказала:

– Эта девушка на почте... она на вас так посмотрела... прямо... преданно.

До Михалыча добирались на катере. Маша спала, а в кубрике шли в ход лучок, хлеб, сальце, бутылочка. Когда Григорий Григорьевич узнал, что надо ещё заехать в один посёлок и что-то там загрузить, забеспокоился:

– Сколько же это мы ехать будем?

– А мы и не торопимся. Мы в Сибири, – сказал Евгений.

И Григорий Григорьевич, переглянувшись с Андреем, улыбнулся благодарно, беззащитно и, показав длинные и немного лошадиные зубы, подался вперёд и ладонью коснулся Жениного колена. Глаза за очками казались огромными и серо-зелёными. Маленькие руки теребили сигарету, которые он курил одну за одной.

Михалыч встретил на берегу с обычным всепогодным видом и в первую очередь проследил, чтобы аккуратно сгрузили мотор, который ему привезли за будущую работу в роли крепкого хозяина.

Работа началась, и сразу начались споры с Михалычем, главным героем. Григорий Григорьевич, оказавшийся намного жёстче, чем хотел выглядеть, действовал настойчиво и продуманно, и тут нашла коса на камень. Он хотел снять борьбу, перебирание через Енисей в страшенную волну, а Михалыч любое неурочное напряжение считал идиотизмом и старался свести к минимуму, главным мастерством считая умение делать всё гладко и спокойно. Никакого эффектного героизма не получалось, и Григорий Григорьевич бесился и даже подбивал Андрея подстроить Михалычу мелкую аварию.

Едва Михалыч завёл вездеход, чтобы привезти дров, тут же выскочили Григорий Григорьевич с Андреем и камерами. Документов на вездеход не было, и за Михалычем охотился гаишник, с которым у него были плохие отношения. Снимать он не разрешил, и Григорий Григорьевич кричал,

ругался и убеждал, что не подведёт и так всё смонтирует, что комар носа не подточит.

Так же не хотел Михалыч сниматься с оружием – самодельным карабином с пулемётным стволом, и опять был скандал, и опять Григорич орал и топал ногами:

«То нельзя, это нельзя, что это за кино! Вот тебе и крепкий хозяин – крепче не придумаешь!» Андрей метался меж двух огней, а Маша фыркала и пожимала плечами.

Михалыч старался встать пораньше и, не шумя, побыстрее сделать по хозяйству то, что нужно. Григорий Григорьевич тоже просыпался и скрадывал Михалыча, и тот, пойманный с поличным, стоял с невинной полуулыбкой.

Но потихоньку что-то выходило, и Михалыч привыкал и даже давал советы Григорию Григорьевичу, как лучше снять тот или этот эпизод, и тот всё больше к нему привязывался, поражаясь его основательности и чутью. И вот Андрей в новой свистящей куртке с кармашками и молниями, в специальных перчатках и шапочке, с огромной сумкой, со штативом и камерой пробирался по льдинам и брёвнам, то и дело оступаясь в грязь. Рядом нёсся Григорий Григорьевич в такой же одежде, только ещё более грязной и рваной, потому что обтрепывал всё сразу, и тут же шкандыбал Женя с блондинисто-лохматым микрофоном на длинной палке. Женя таскал его с первого дня и прозвал Алёнкой – очень уж по-женски доверчиво рассыпались блондинистые патлы по плечу. Алёнка тоже обтрепалась и напоминала неопрятную

белую собачку.

Андрей лихорадочно доставал из сумки фильтры, все бежали, крича друг на друга, замирали у штативов и махали руками, а навстречу с непробиваемым видом шёл Михалыч с топором и ружьём.

– Василий Михалыч! – надрывался Григорий Григорьевич. – Японский бог! Топор снова воткни. Нет! Вытащи и воткни! Да что же... Сюда воткни, дорогой! Андрюша не успел! Андрей, работаем, здесь я его подхвачу...

И снова в закатном зареве маячила фигура Андрюхи, согнутая над толстым штативом с камерой. Она матово чернела породистыми частями, боковое оконце было открыто, и в нём горела густая, как заварка, копия заката и, пульсируя, струились сочные полосы «зебры».

И Женя тоже склонялся над этим оконцем, а Андрюха говорил:

– Видишь, красиво как! Сейчас баланс белого возьмём... А потом, хе-хе, пустим Михалыча в расфокус.

– С балансом беда. Особенно белого... А она точно с ним разводится?

– Точнее не бывает, только не советую.

– Почему?

– Потому что с этими дорогостоящими женщинами каши не сваришь.

– Ты уже пытался?

– Что пытался?

– Ну, уйти с ней... в расфокус?

– Нет, дорогой брат, не мой это случай... и говорю, отступись... Пока не поздно.

– Да похоже, поздно...

И было поздно, и она была рядом, и он чувствовал её присутствие, будто она лучила что-то слишком плотное, и даже на расстоянии воздух с её стороны казался живым и одушевлённым, и, когда она чуть подавалась в его сторону, окатывало близостью, а когда отдалялась, пустело всё до поворота Енисея.

Вскоре отправились на лодках на охотничий участок Михалыча.

Главным эпизодом должно было быть строительство новой избушки. И тут оказалось, что Михалыч перед их приездом съездил на снегоходе и срубил сруб, так что осталось его только переложить на мох. И Григорий Григорьевич, который очень хотел снять валку леса, обомлел: «Что ж ты, голубчик, наделал?», а Михалыч смущённо улыбался, говорил, что не мог погоду упустить, и предлагал проехать дальше и там навалить лесу ещё на одну избушку. Так и сделали. Ревела пила, с треском валились ёлки и кедры, и Михалыч очень хорошо говорил в камеру о тайге и своей работе. И Григорий Григорьевич был очень доволен и даже велел устроить завершающий ужин. Что и было осуществлено с малосольной рыбкой и припасённой водочкой. И даже речью Григория Григорьевича, посвящённой по очереди всем братьям и,

конечно, главному герою и виновнику, которого никто иначе как Михалычем не звал, включая братьев:

– Михалыч, дорогой, я хочу выпить за твоё терпенье, с которым ты нас выносишь, за твою трудовую душу и за твой дом – Енисей!

Все выпили, а вечер и вправду был хороший, с чистым небом, холодком и туманчиком, ползущим в реку с ручья, и даже Григорий Григорьевич расслабился и подправил лобастым американским ботинком костёр:

– Здорово у вас здесь... Андрей, завтра, когда поедем, надо будет, чтобы Михалыч рассказал про...

– Обожди. Куда поедем? – не понял Михалыч.

– Ну, обратно...

– Как обратно? А это всё – так побросаем?

– В смысле брёвна? Ну ты уж как-нибудь реши. Про сроки я с первого дня говорил.

– Какие сроки? Весна вон какая поздняя... Комара ни одного... Ни хрена себе! Лесу наваляли, и я брошу? Нет, дорогой мой, так не делается! Раз уже я заехал, под крышу будем ставить.

– Нас вывезете и поставите. Мы вам оплатим. Наймёте людей, и они приберут. Нам в Красноярск надо. А Маке в Москву к двадцатому. И пароход послезавтра.

– Я сказал, никуда не поеду, пока под крышу не подведу.

Григорий Григорьевич раскричался и убежал на берег. – Ничего, пускай проветрится, – сказал Андрюха, – давайте по

стопке.

Макой Григорий Григорьевич называл Машу, и от клички этой Женю передёргивало. Минут через десять раздался треск. Вернулся Григорий:

– Ладно. Но тогда придётся разделиться. Маку отправим с Женей. А с тебя, Михалыч, я за это не слезу. Договорились?

– Договорились.

– Хорошо, Михалыч... Как назовёшь избушку?

– Кедровый.

Григорий Григорьевич скривился, очень уж хотелось, чтоб Михалыч придумал какое-то поэтическое название. А Михалыч называл всё одинаково – и избушки, и собак: все избушки были Еловые, Пихтовые и Березовые, а собаки Серые, Белые и Рыжики.

И Михалыч смотрел со смущённой улыбкой, а Женя переживал и понимал брата, как никого:

– Слушай! Знаешь, как назови? Дунькин Пупок!

– Почему?

– Это есть место такое в Северо-Енисейском районе, называется Дунькин Пупок. Там жила одна Дунька. И к ней под осень золотари собирались, ну и кто ей полный пупок золота насыплет, тому она в общем... и... не откажет.

– Как вам не стыдно, Евгений, такое при даме рассказывать.

– Да вот, насчет дамы, Женя. Вы уж довозите её получше, потому что восемнадцатого у неё переговоры с директором

Артёмовского прииска господином Фархудиновым, и если она правильно их проведёт...

– То господин Фархудинов насыплет мне золота в пупок...

Был в этом пароходе поразительный контраст с берегами, слоисто-зелёными, безлюдными, уже нежно гудящими комарами. Пароход тоже был разбит по слоям: мазутная тяжесть трюма, злачность камбуза и тяжкий пар душевых, выше – потрепанный шик зеркал, лакированных панелей, от вибрации дрожащих до треска, и надо всем этим отрешённый простор палуб, летуче переходящий в небо.

На верхней стояли, блестя стёклами, автомобили, по второй прогуливались в спортивных костюмах норильчане, снимали друг друга на видеокамеры. Ожились, когда из подъехавшей лодки стали грузить на камбуз огромных осетров.

– Они какие-то пластмассовые... – Маша смотрела на них, не отрываясь. Когда один из них забился, скобля, щёлкая костяшками гребня по палубе, чуть прихватила Женю за рукав. Рты их судорожно выдвигались пластиковыми трубками. Одноглазый мужик с чахлой бородой пересчитал деньги и завёл мотор, рубленую пятьдесят пятую «ямаху». Вздыбив лодку, он унёсся, отпал куда-то в сторону, в сияющую даль и затерялся там, сбавив ход. Осетры продолжали биться. Подошёл матрос и оглушил самого большого кувалдой.

– Они их съедят? – спросила Маша, сглотнув.

– Они их продадут. Пойдём.

Евгений устроился во втором классе. Были места и в пер-

вом, но Маша хотела выкупить каюту целиком, чтобы ей никто не мешал, но проводница говорила, что так не положено. Маша моментально оледенела, неузнаваемо напряжилась. Глаза были широко открыты и горели. Губы зашевелились отрывисто, упруго и твёрдо подбираясь после каждого слова. Потом оттаяли: «Хорошо. Вот так бы сразу. Спасибо. Обожаю с такими собачиться! Я вредная?»

Поздно утром вышла выпавшаяся, расслабленная, подкрашенная едва заметно, с запасом на будущее. В ресторане подсел золотистый бугаина в шортах, с круглой брито-лысой головой. На пузе маленький серебряный фотоаппарат.

– Салат из помидоров, два штуки. Солянка. Эскалоп. С картофаном. «Ярича» ноль семь. Бутылку «Хан-Куль». Пока всё. Водку сразу.

И уже Маше:

– Девушка, а у вас говорок западный.

– Я из Москвы.

– Все москвичи конченные свинни.

Говорил сочным резким голосом, будто режа воздух на металлические пластинки. Диск был острым, и искры от него летели точные и злые.

– Почему?

– А у них руль не оттуда растёт! Га-га-га!

– Как это?

– А так. Приезжает тут один: «У меня с Москвы бумага».

Я говорю, да засунь её себе... в одно место.

– Вы грубый.

– Я нормальный. Ты подойди по-человеччи, я тебе и без бумаги всё сделаю.

– И как с нами быть?

– С вами? – мужик прищурился, открывая бутылку и подмигивая Жене.

– С нами, – прищурилась Маша, прикрывая рюмку ладонью.

– Да отрубить по Камень, и муха не гуди! Га-га-га!

– По Камень, это как?

– А так. По Урал.

– А я вот давно хотела спросить, вот здесь едешь и едешь, и никто не живёт. Почему?

– А это дырья. Знаешь для чего?

– Для чего?

– Для вентиляции, га-га-га! – мужик снова захохотал. – Ты подумай, если их людьми набить. Люди разные. И есть, я тебе скажу, такие свинни. Представляешь, сколько свинства поместится! Га-га-га! Знаете, зачем России дырья?

– Зачем?

– Чтобы не порваться. Это тост. И не бойсь, Маня, не будем мы вас отрубать! Давай, друга! Давайте, ребята!

Вскоре друга уже сиял не золотом, а красной медью и резал слова не диском, а яркой и трескучей сваркой:

– В гости жду вас, Маня, с Жекой, обязательно. 31 Я в Столбах живу. Жеча знает. Обожди. Адрес. Телефон. Ручка

есть? Щас, нарисую. Вот так во-во... Вот так во-во... Вот тут вот дорога пошла. Вот тут вот так вот... Женька знает...

Голос у него совсем изменился, горел, как электрод, озаряя и осыпая искрами:

– Главное, ребята, дугу держать... Вот тут вот у нас свороток... Вот тут вот сопки... А тут река, которую...

На этих словах электрод чуть подлип и голос дрогнул, но выдержал дугу и доварил до конца:

– Которую мы все любим... А вот тут мой дом...

Они уже давно стояли на палубе, а слова стыли, каменели в памяти, и Женя хорошо знал такие встречи, которые хоть и начинаются с искр, но шов оставляют на всю жизнь – крепкий, грубый и без шлака.

Река, которую они любили, постепенно сужалась. Ночь тоже сгустилась до почти южной густоты, и Машу поджало, придвинуло к Жене ещё на трудные сутки. Светясь вышкой, огнями, приближался Енисейск. Главные огни жизни тоже светились отчётливо и сжато: предельный неуют ночи, скупое оживление усталых людей. Дорога. Женщина. Дом.

Стояли на самом носу. У соседней пары за спинами ветровки дрожали тугими шарами. Нос летел над водой легко и мягко, и слышался только её шелест и звук ветра. Маша касалась его плечом, и когда налёг ветер, прижалась с вековой простотой и так же легко отжалась, когда порыв ослаб.

Её приоткрытые губы были совсем рядом. Лицо ровно светилось в темноте. Вечность прошла с той минуты в аэропорту, когда она посмотрела в телефон, как в зеркальце, и, сверившись с отражением, поцеловала свой образ, впало втянув щёки и собрав губы выпуклой щепотью. Когда они ослабленно приоткрылись, в их просвете стояло великое разряжение. В душе, как в мембране, что-то дрогнуло, и засквозил-завязался ток, гулкая тяга, которая, раз наполнив, больше не потихала. Всё плотское повяло, подсушилось от этого ветра и отдельно от него уже ничего не значило.

Она что-то сказала совсем близко около его лица, и из её желанного рта чуть нанесло знакомой дорожной горчин-

кой. Вся жизнь перевязалась, озарилась одним вздохом, как живой водой. Мурашки побежали по спине, голову ознобило, огладило наждачной пятернёй. Грянул гудок, и Маша вздрогнула, испуганно открыв на него очи, словно он отвечал теперь за все гудки и разлуки.

Пароход медленно приближался к дебаркадеру. Горели огни. Вырвалась из тьмы лодка, взрыв смугложёлтую волну, гулко пронеслась в узком пространстве. Бросили трап. Впереди неловко пробиралась женщина с сумками. Навстречу выступил крепкий человек в плаще. Они молча приложились друг к другу лицами, он взял сумки и понёс к машине.

С берега в гостиницу ехали на такси. Стояли на перекрёстке среди одноэтажных домишек. После дождя асфальт равнодушно блестел в неоновой синеве фонаря. Круг светофора был крупный и в светящуюся клетку, яркую, мёртвую и тоже будто усталую.

В холле гостиницы Маша заполняла карточку. В паспорте её лицо было моложе и родней какой-то казённой простотой. Он поднял в номер её вещи.

– Ну всё? Я с ног валюсь. До завтра.

– До завтра. Женя сел к знакомому таксисту:

– Чо за фруктоза? Завалил?

– Рули. Валило...

В гараже белая «креста» 93-го года казалась ещё больше, красивей, женственней. Он поставил подзаряжаться аккумулятор и лёг спать.

С утра ощущение недосыпа, песочка в глазах только обостряло собранность. Утро было раннее, очень летнее, с лучисто-сыпучим светом и режущей прохладой в тенях.

Медленно выехав на улицу и подправив кресло, он чуть качнул рулём и почувствовал, как крепко, в три зеркала, встала машина в дорогу. Он полил из омывателей стекло и вдохнул запах, лимонный и такой остро-спиртовой, что этим дорожным хмелем чуть повело память и озарило федеральную трассу Владивосток – Красноярск. Как стоит поздней осенью на переезде, и с судорожной старательностью работают дворники, и лимонный раствор мешается с мокрым снегом. И всё проползает платформа с какими-то изоляторами, а слева от него спит сменщик по кличке Четыре-Вэдэ с бритой башкой и «сайгой» под правой кистью. А в зеркале приближаются две пары узких фар, но это оказываются иркутяне на двух «скайликах», и он вытирает пот, а когда переезжает рельсы, твёрдо работает подвеска и прыгает, клацая зубами, сонная голова напарника. А сейчас машина идёт совсем ровно, и стоит лето, и, хотя на этом месте вот-вот будет сидеть Маша, надо переложить гигантские рельсы в самом истоке жизни, чтобы её по-настоящему приблизить.

У гостиницы стояла серебряная «тойота-веросса». Крылья были выпукло отбиты стрелками, овальные фары загибались вдоль капота наверх, стеклянными чулками обтягивали борта передка. Вся машина была как одутая ветром дождевая капля.

Он поднялся в номер, когда она уже выходила. В просвете открытой двери чернел чемодан с выдвигной ручкой и виднелась полузастеленная постель. Она была чуть невыспавшаяся, глаза казались резче, а влага на веках острее, первозданней. От неё чуть пахло духами и земляничной жвачкой. Другой, химически тревожный, дорожный запах шёл от чемодана на колесиках.

– Мы попьём кофе?

– Конечно. И раз уж мы здесь, я тебе город покажу.

– Мы успеем? У тебя ещё какие дела в Красноярске? Кроме меня?

– Кроме тебя? – повторил он, словно дожидаясь, пока эти слова доберут смысла. – Да никаких особенно, на Правый съездить. Берег, я имею в виду...

– Плохой кофе.

– Да? Я как-то не задумывался... Мы сейчас монастырь посмотрим.

Машина тихо тронулась, сквозь коричневые стёкла дома гляделись сдержанней и будто лаковой.

– А это налечники... Называется сибирское барокко.

– Это ты придумал?

– Не помню, может, и я... Эти завитки называются *волюты*. Они как глаза... Такие налечники в Томске и Иркутске есть.

– Вообще-то больше на стиль модерн похоже... Странные... Очень красивые... Я такие не видела.

Он остановился у монастыря со стенами когда-то белыми, а теперь облезшими и такими по-детски низкими, что казалось, мир за четыреста лет навсегда перерос их. Стена от зубца к зубцу сбегала и взмывала фигурным провисом, но даже через эти провисы настоящее внутрь не переливалось. Кое-где по рыхлому кирпичу лепились берёзки. Стену, повторяя её провисы, укрывал козырёк из ржавых железных листов.

В углу стен косо чернел силуэт кедр с обломанным стволом и живым боковым отвилком. Погибший ствол был как отрезан по границе стены, а боковой отстволок уцелел над монастырской землёй и темнел живописно и густо.

Рядом с воротами обосновалось целое семейство собак полуовчарочьей смешанной породы, особенно нескладными казались молодые с гладкими вихляющимися хвостами и большими лапами.

– Смотри... – тихо произнесла Маша и осторожно взяла его за локоть. – Они не... опасные? – Слово «опасные» она сказала своей скороговорочкой, словно схватив из засады.

– Что ты? Я смешно говорю?

– Очень. Видишь этот кедр? Я брата Андрея просил сделать фотографию. Если б умел, я бы картину написал.

– Какую? – спросила Маша каким-то другим, крадущимся голосом, и он понял, что они уже вторглись в странное и плотное поле, где слова не сжимались и каждое движение сердца доходило без утечки.

– Стена монастыря. Кедр со сломанной вершиной. Небо.

Рваные облака. Машина с открытой дверью. И человек смотрит на кедр. Только мне кажется, что на кедре не хватает чего-то живого.

– Мне тоже кажется, что... на дереве, рядом с которым ты живёшь, не хватает птицы.

– И я бы на него посадил орлана-белохвоста. Снова раздался тёплый, нутряной, сопящий смешок:

– Это такой орёл?

– Это такой орёл. – Женя заметил, что Машин смешок всегда появлялся, когда говорили о животных, и что они всё больше повторяют друг за другом слова. – Что тебя рассмешило?

– Я не знала, что они разные. Я думала, бывает один. Просто орёл.

– Их много. Есть беркут. Есть белоплечий, тихоокеанский орлан. Ты не бойся... они не... опасные.

Когда она была удивлена, поражена, вырывалось это нежнейшее:

– А-ах! – Она открывала рот и тут же закрывала, прикусив воздух с легчайшим кастаньетным ударчиком. Глаза сияли.

Крупные гладкие зубы блестели:

– Ты дразнишься!

– Тебе это не нравится?

– Нет. Мне нравится картина. И орёл. Но только мне кажется, всё это так далеко. От того места, где я живу.

– А мне кажется... – Женя задумался.

– Что тебе кажется? – спросила Маша каким-то совсем близким голосом.

– Мне кажется, что там, где ты живёшь, забыли, что у орла две головы.

У ворот стоял грузовик с досками. Замерший колёсный трактор опирался на ковш.

– Он устал? – спросила Маша.

Откинувшись в кресле, она сидела слева от него в белой блузке и светло-синих джинсах. Глаза были закрыты очками. Губы расслабленно приоткрыты. Белая короткая блузка обтягивала грудь. Маша пошевелилась, потянулась, согнув руки в локтях и сведя за головой, блузка поднялась, и под ней открылась нежно-жёлтая полоска живота. Он так и не понимал, открыты ли её глаза, и она будто почувствовала и спросила трезвым и чуть ослабшим голосом:

– Мы скоро приедем?

– Скоро.

– Что там было написано?

– Больше-Муртинский район.

– Странное название. Оно мне не нравится. Они все такие?

– По-моему, отличные названия. Ирбейский район, Тухтетский...

– И ты везде был?

– Почти. Есть, правда, посёлок, Усть-Бирь, я там не был, но такое название, что лучше пусть про запас останется.

– А чем оно тебе нравится?

– Оно вроде короткое, а столько всего. И свежесть, и дикость... и устье реки, и Сибирь. А взять Арадан... или Манское Белогорье...

– А ты к названиям серьёзно относишься. Тебе здесь нравится...

– Здесь столько всего... В Хакасии... Казановка, Аскизский район. Степь: полынь, чабрец, ирисы. И наскальные надписи... Приложишь лист бумаги, потрёшь пучком травы – и выступит конь или собака...

– Хм. – Маша помолчала. – А у меня только кот есть. Когда я летом еду на дачу, он сидит в корзине, – Маша сопнула своим смешком, улыбнулась, прищурилась и добавила театрально: – И я его полива-а-а-ю из пульверизатора.

– Хм, – сопнул уже Женя, – а Григорий Григорьевич рулит.

– Да нет, он вообще не водит машину. Ему это не нужно. Ему нужно... совсем другое... Но я с ним развожусь. Уже год целый.

– А как же всё это?...

– Просто мы договорились, что доделаем работу, раз уж вместе взялись. Он меня уговорил... Да. А ты не похож на шофёра.

– А ты на жену, которая разводится.

– А на кого я похожа?

– На «висту» в тридцатом кузове.

– А что это такое?

– Самая красивая машина. Которую я... когда-либо видел.

– А то, что вы сказали, Евгений, знаете на что похоже?

– На что, Мария?

– На самый топорный комплимент, который я когда-либо слышала.

– А вы её просто не видели.

– Кого?

– Ту «висту».

– А какая она?

– Такая прогонистая. И дизайн «плавник акулы».

– Что это такое?

– Это когда задняя стойка крыши по форме как плавник акулы, и её линия очень плавно сходит на длинный багажник. У меня была такая машина, я на ней четыреста тысяч проехал.

– А что такое прогонистая?

– Такая стройная, протянутая...

– По-моему, ты преувеличиваешь...

Замаячила заенисейская гряда сопок, корпуса, трубы. Неотвратимость, с которой приближались горы, только подчёркивала неподъёмность и мощь земной плоти. Маша достала сумочку, зеркальце.

– Ты как самолёт.

– Ты сказал, что я как... та... машина...

– Сейчас ты как самолёт перед посадкой.

– И что он делает?

– Шевелит закрылками.

– Я пошевелила закрылками? Ты всё время надо мной

смеёшься. А ты... разве не шевелишь?

– Я пошевелю, когда отвезу тебя в гостиницу.

– Да, я отдохну. А вечером проедем по магазинам, хорошо? Где ты будешь ночевать?

– У Четыре-Вэдэ.

– Её так зовут?

– Его зовут Владимир Денисенко. А это кличка. Ну, полный привод. Четыре-Вэдэ.

– Он всё время... на четвереньках? – спросила Маша своим хваточком.

– Да нет. Просто шустрый. Ноги цепкие. Не догонишь.

– И где он работает?

– На «воровайке».

– А что такое «воровайка»?

– Грузовик с краном. Ну, чтобы очень быстро что-нибудь загрузить или отправить.

– Мне такой нужен.

– Для чего?

– Для Григория Григорьевича... Как он называется?

– «Хино-рэнжер». Ты не запомнишь.

– Я не запомню. А это что за машина?

– «Марковник» двухтысячного года. Сто десятый кузов.

– Он морковь возит?

– Он «марк-два».

Из-за своей немислимой сбитости этот белый и дутый, как капля, «марк» казался выше, меньше и невероятней.

Треугольные задние фонари располовинивались вдоль белыми поясками, фары тоже были каплевидными, и внутри них поворотники лежали стекшей рыжей слезой.

– Ну, ничего. Почему ты... как-то... хрюкнул?

– Да нет, так...

– Что такое?

– Да великолепный аппарат! – Женя покачал головой и снова хрюкнул: – «Ничего»...

– Название дурацкое: «ниссан-авенир-салют»... Евгений, перестаньте... хрюкать.

– Да уж лучше, чем у ваших немцев, по номерам, и ещё пол-алфавита. А тут простые жизненные слова, только английскими буквами. «Тойота-комфорт», «мицубиси-мираж», «мазда-персона»... Есть, конечно, непонятные: «ниссан авто сандал». А есть, наоборот, совсем свои – «коро-на», «фамилия». Есть детские: «тойота-биби». Есть деловые: «хонда-партнёр», «ниссан-эксперт». На любую тему.

– Ты всё придумываешь.

– Не веришь? Ну давай. Что ты хочешь?

– Хочу музыку.

– Какую?

– Классику.

– Пожалуйста: «мазда-этюд», «тойота-краун-рояль», «хонда-концерто», «тойота-публика»... Ну что? Есть армейские: «тойота-плац» и «ниссан-марш». Научно-технические: «тойота-прогресс», «ниссан-пульсар», «маздафорд-лазер».

– Жень. А есть... такая машина... «ниссан-евгенийболтушка»?

– Нет. Есть «тойота-маша-недоверяша». Неужели тебе не нравится? Есть очень звучные: «тойота-альтеза», «хонда-рафага». Чем больше машина, тем красивей имя: «тойота-цельсиор», «ниссан-глория». Но мне больше всего тройные нравятся, с превращением: сначала японское идёт, потом латинское, а потом русское. «Тойота-краун-атлет», «ниссан-лаурель-медалист».

– Прямо собака какая-то, – Маша задумалась, – да нет, вряд ли они специально. Просто эти слова и для них чужие, и для нас. Это и... роднит. По-моему, они называют, как нравится. Играют в слова в своё удовольствие.

– Они ещё никогда на радиаторе названия не пишут, а у каждой свой значок, у «короны» звёздочка, у «крауна» корона, у «висты» галочка, у «кресты» – крестик.

– Значит, у нашей крестик на мордочке. А я не знала, что их столько здесь... водится. За что ты их любишь?

– За то, что они не спрашивают, где водиться.

– Только этот руль... Вот если бы можно было переставить. Так... У тебя что-то с носоглоткой?

– Да ничего... Просто тогда всё пропадёт...

– Непонятно, что всё... ладно, буду просто смотреть на улицы. По одежде и машинам можно точно сказать, как живут люди...

Они остановились на светофоре рядом с обшарпанным

домом. Блекло-зелёная краска свисала с него мёртвыми сырыми листьями. Некоторые скрутило в трубки, и их испод был бледно-сизым. Рядом тянулась теплотрасса в пучках стекловаты и клочьях серебрянки. Из-за её колена, переваливаясь на кочках, выезжала серебристо-голубая машина.

– А здесь как-то странно... Вот что этот... корабль тут делает?

– Это не корабль, а «тойота-краун-эстет». Представительский универсал. Турбодизель. Четыре вэ эс – все колёса поворотные. Нулевой год.

– Как нулевой?

– Двухтысячный. Так говорят.

Вдоль теплотрассы с неестественной деловитостью шел смуглый труп человека, босой, заросший и сутулый. Одет он был в тряпку и в руке весело держал блестящую от грязи котомку.

– Какое-то слепое слово. Будто всё, что до этого, обнулили... Господи, что с ним?

– Его обнулили.

## 8

Красноярск Женя любил. Он вообще понимал такие города, для которых главная задача – поместиться со своими заводами и промзонами меж горами и водой и где эти горы никогда не ослабляют своего излучения и маячат дымно и отрешённо в просвете прямых улиц, где всё упрощено до символичности, и в трёх метрах от банка или администрации сурово и грубо сереет земная твердь, и улицы еле лезут в гору, из которой глядит то камень, то красная древняя глина. Где рядом с серого бетона коробками, живой памятью лепятся, косо утопая в грунте, пыльные сибирские домишки со ставнями и заборами, прокопчённые, засаленные и пропылённые.

Где с берега обступает такая студёная и туманная синева, что поначалу и неясно, где несётся стальная река, а где встает гряда мутно-сизых сопок по-над ней, и откос последней освобождённо обрывается к северу.

Где уют трёх главных улиц кажется схематичным и условным, и речушка кипит со стеклянной независимостью по грубым булыганам и ржавым железякам, и где так напирает камень и глина, что, кажется, город вот-вот расползался под их скупым напором.

И где не успел накопиться перебор людской энергии и ещё не пожрала сама себя безглазая плоть города, служащего

лишь вынужденным местом сосуществования и сводя к нулю и людей, и смысл, и историю... и давление бессмысленности и духоты, жмущее с неба гигантской плитой, так же клинически-свинцово, как слово «гипермаркет».

Он уже забрал Машу из гостиницы, и они мчались по набережной. Ярко горело вечернее солнце, и Маша опустила козырёк у лобового стекла и чуть добавила звука в приёмнике. В её облике, причёске, одежде тоже было добавлено ещё на деленьице, но запас оставался, и лицо светилось вполсилы. И на Маше, и на Жене были очки, и стёкла машины тоже были коричневатого затемнения, и этот смуглый лачок придавал жизни свою эффектность.

В магазине Маша отобрала охापку брюк. То зернисто-, то матово-чёрные, они сыпко сползали с вешалок, и она пробовала ткань, то поклёвывая, царапая ногтем, то катая меж пальцев и словно проверяя на материальность. И, стоя у зеркала, прикладывала к себе, щурясь и глядя отстранённым и собранным взглядом, пока рядом терпеливо и внимательно дежурила девушка с табличкой на кительке.

Зашла в кабинку и через минуту отодвинула занавеску и, звонко крикнув: «Ну как?», подтянула брюки за пояс, и тогда завернулась чёрная блузка и открылся подобранный жёлтый живот. Он впало сходил по кромке ребер и нежно делился на два пласта мышц.

Они ещё долго ходили, пока Маша, подняв всю службу магазина и деловито цокая каблуками, наконец не выбрала

чёрные, какие-то особенно гладкие, тонкие и сыпучие брюки. Уже выходя, она задержалась у зеркала, встряхнула светлой гривой, втянула щёки и подала вперёд губы:

– Я прогонистая? Пойдем...

Совсем поздно в баре гостиницы сидела расслабленно и в приступе вечерней словоохотливости, расспрашивала, задумчиво поблёскивая глазами:

– И кого ты возишь на своей машине?

– Кого не вожу, проще сказать. Американских староверов, дельцов, проституток.

– А у тебя были проститутки?

– В каком смысле?

– В самом прямом.

– Почему ты спрашиваешь?

– Может, я ревную. Шучу. Вы с ними не целуетесь, я надеюсь.

– С ними никто не целуется.

– Бедные. Они, наверно, хотят, чтобы их поцеловали.

– Наверно, хотят, но сами не целуются, пока их не поцелуют. Они боятся. Заразиться. Только если их кто-то сам заразит. Своей отвагой, что ли. У таксистов с ними своя дружба. И мы, и они – все на охоту выходят.

– Хм... Ты тоже охотник. И как ты охотишься?

– Двумя способами: либо скрадом по городу. Едешь по улице, ищешь пассажира. Но это больше дело случая. Либо капканами на Жэдэ вокзале или на Взлётке.

Снова сдулись нежные меха:

– На плавник акулы?

– На плавник акулы.

– И какая самая ценная... добыча?

– Самая ценная – это чтобы не тыркаться по городу за копейки и в пробках не стоять... Куда-нибудь подальше. Хоть в Абакан или в Канск. В Уяр... или в Танзыбей.

– Куда-а? – спросила Маша с тихой опаской.

– В Танзыбей. Это посёлок такой в начале Саян. Там почему-то у всех знакомые. Ты поедешь в Танзыбей?

– А сколько туда?

– Отсюда почти шестьсот.

– Как от Москвы до Питера. Не знаю. И часто такая добыча?

– Да не особенно.

– Значит, хорошую работу тебе твой брат подбросил?

– Хорошую.

– А ты сразу согласился?

– Да нет. Не сразу. Что-то тянул...

– Небось думал, москвичи. Надурят.

– Да нет. Оно понятно, что в Москве жизнь, ну, более зверская... Не в этом дело... Просто прикидывал... что да как... А потом позвонил Андрею, и он сказал мне рейс, и ещё сказал, что... таких...

– Зверей...

– Да... нельзя упускать.

– И ты пошёл на охоту?

– И я пошёл на охоту.

Маша помолчала. Принесли горячее. Потом чайничек с чаем. Помешала сахар, поднесла чашку к губам, сделала медленный глоток.

– И как твоя охота?

– Можно, я отвечу историей?

– Нельзя. Ты мне будешь голову морочить...

– Не буду.

– Ну, хорошо.

– Есть птица, называется глухарь.

– Ну, знаю. Это петух такой лесной.

– Петух такой лесной... У него нет зубов, он желудком жуёт...

– Что-о?

– Ну правда... не смейся, у него там камешки. Он по осени, пока снег не лёг, эти камешки и клюёт. Пополняет запас. На бережок вылетает и клюёт.

– Бедный.

– Почему бедный?

– Ну, какое-то неудобное занятие.

– Занятие как занятие. В общем, однажды пошёл человек на охоту и принёс глухаря, дома желудок вскрыл, а там золото. Так прииск и открыли.

– Ладно, положим, поверила. Что дальше?

– Дальше ничего.

– Как ничего?

– Так. Всё уже есть.

Маша вдруг покраснела. Меха сдулись так, что в них больше не осталось чудного тёплого воздуха – ни в самых маленьких закутках, ни в самых сокровенных глубинах. Потом спросила совсем тихим крадущимся голосом:

– И что это значит?

– Это значит, что я нашёл своё золото.

На следующий день он отвёз Машу на встречу с Фархудиновым. Она была в тёмных очках и в чёрном костюме.

– Ну, я пошла... Созвонимся. Ты куда сейчас?

– На Правый берег.

– Зачем?

– Сделать стойку. Маша вдруг улыбнулась:

– Хочешь, скажу наглость? По-моему, ты её давно сделал.

– Хм... Как только тебя увидел. Удачи тебе.

Издали горы стояли высокой грядой, а дома и заводы ютились у их ног. Когда он подъехал, горы скрылись, залегли, и серыми скалами теплоцентрали встала промзона, закружилась угольной пылью, разбитой дорогой, по которой вдруг прогрохотал допотопный карьерный самосвал.

Сколько он перевидал за свою жизнь складов, путей с тепловозами, портов и заводов. Дорог мимо переполненных помоек, жилых коробок с загаженными подъездами, с исписанными и подожжёнными стенами. Провонявших мочой лифтов и железных дверей, за которые люди ныряют измученно, как в логово.

Некоторое время он ехал сквозь склады и гаражи, пока не добрался до бетонной коробки. На крыше стоял автомобильный кузов.

– Где Влад? Я ему звонил.

– Геша, где Гнутый?

– Отъехал. Щас будет.

– Алё, Влад, ты где? Понял. Жду.

Мёртвая, перебитая пополам «виста-ардео» стояла укутанная в полиэтилен. Женя поднял плёнку, вместо левой передней дверцы зияла огромная вмятина-труба, и в её поверхность была вдавлена кора тополя. Стекло было как зеленоватый и гибкий лёд, иссечённый в мелкую сетку, или как сеть на зелёной осенней воде. Напротив водительского сиденья стекло выперло белым пузырьём.

Раздался глухой рокот пробитого глушителя, и появилась «тойота-скептер», тёмно-зелёная и пыльная, громыкнув, подпрыгнула на колдобине, проворно объехала яму и встала. Задний бампер был подвязан верёвкой, вместо одного колеса желтела докатка-«банан», похожая на крышку от кастрюли. Из машины вылез с новыми стойками Влад по фамилии Гнутов. Все звали его Гнутый.

Была в нём какая-то тотальная опалённость и пропылённость. Бритая голова, худое скуластое лицо, предельно загорелое и с пятнами, будто травленое, не то от сварки, не то от близости химзавода. На темени белый шрам. Когда он гнал из Владивостока машину, на въезде в Хабаровск решил отделиться от колонны по каким-то дурацким делам, а потом остановился по нужде, и тут же с незаметной стоянки сорвались «креста» и «клюгер», которым он не захотел заплатить за въезд. От трёх ударов фирном осыпались фары и лобовик,

а его самого так «приварили монтировкой по макитре», что он больше никогда не отставал от товарищей.

Женя загнал машину и стоял с ребятами, которые меняли глушитель вздетому на талях «чайзеру», и думал о том, с какой скоростью эти Серьги и Влады начали разбираться в двигателях и кузовах всяких «камрюх» и «крузаков», обрастили кличками, и те припечатались к жизни, что не оторвёшь. И стали символом выбора, примером того, как преданный и брошенный на выживание народ выбирается сам, потому что никто из предавших не имел права учить, как жить, на чём ездить и откуда рулить.

И несмотря на постоянную угрозу запретов, упрёки в неправильности и всевозможные препоны, всё равно продолжают возить из Японии праворукие машины и гнать их в Сибирь. И на каждое ужесточение находить выход, и снова ехать во Владивосток, и покупать там грузовики, ставить в них по две легковухи и ещё одну маленькую, какой-нибудь «виц», тащить на жёсткой сцепке, заделав ему морду фанерой, так что он несётся сзади в облаке пыли в огромном, грубом и избитом щибёнкой наморднике.

Он думал о том, что та правда, которая сочится из огромных западных городов, но, обтрепавшись, лишается лоска и, докатившись до океанского берега, оборачивается брошенными посёлками, землетрясениями и наводнениями, замирает на некоторое время, поразившись его синеве и силе, и, переродившись, возвращается, рикошетит, но не мстью и

злостью, а непостижимыми белыми машинами, словно выточенными из китовой кости и похожими на больших тихоокеанских чаек.

И эта посадка с правого борта, словно иная точка приложения энергии, из-за которой должно вести в другую сторону и грозить чем-то глобальным, связанным с силой Кариолиса и отношениями полушарий, – так вот, эта посадка наперекор всему оказывается привычной, жизненной, давит ровно и ещё так поддаёт копоту, что дух захватывает.

И сами машины, отлитые совсем из особой, тугой и аскетичной плоти, нельзя назвать меньше чем явлением, и наступает оно с другой стороны жизни, и тем сильнее, чем удалённей и бедовее регион. И чем дальше на восток, тем их становится больше, и акуляя плоть копится, набирает силу и достигает полной власти в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. А потом на белых крыльях переносится на шестьсот вёрст на самый южный остров Курильской гряды.

И пролетает огромный пласт океана, синей кожи, отливающей на солнце, и тёмно-сизых вулканов, торчащих из облаков там, где в оторочке разбитых шхун и прибоя стоит последний остров. На его прибрежных меляках вода становится ярко-зелёной, и всё тонет в гигантских лопухах и в крике большеклювых ворон, и одеялом перетекают хребты то охотские, то тихоокеанские туманы.

Остров этот, как подковой, окружён хоккайдскими горами, которые и среди лета сурово белеют снегами. И в его сто-

лице Южно-Курильске среди засыпанных шлаком улиц лежат терриконы старых кузовов, как пустые ржавые куколки, чья жизнь давно перешла в живые машины, для которых этот остров и есть их последнее прибежище.

Потому что ещё дальше на южной оконечности уже Малой гряды, на острове Танфильева, где стоит грубо сваренный железный крест, уже нет ни дорог, ни машин, и всего четыре километра отделяет их от родины. На этих последних вёрстах и происходит самое страшное, сотрясается мир и переворачивается на сто восемьдесят градусов стрелка гигантского компаса. Случается это в момент смены сторон движения на улицах города Немуро. Тогда святая и великая неправильность этих белых птиц обрывается, и они умирают...

– Готово, Жека. Выгоняй тачило и держи кардан, – протянул Гнутый руку, – погнал. Василич «блюбер» припёр. Давай.

Он сел в машину, и она взревела пробитым глушителем, ушла мощно и туго, и было хорошо слышно, как без передышки меняет гидромурфта режимы двигателя на разных передачах.

Запел телефон комариную песню, и на его голубом оконце высветилось имя из четырех букв:

– Привет. Ты как?

– Сделал. Как Фархудинов?

– Ну ничего, хотя можно было и получше. Я уже в гостинице. Мне сейчас купят билет. Рейс во сколько?

– Ночью.

– Мы всё успеем. Я соберусь и... ты дашь мне проехаться на своей машине?

## 10

– Ну, давай... Ты «на коробке» ездешь?

– Как «на коробке»? Я на коробках не катаюсь.

– Называется – «на коробке». Бывают автомобили с гидромуфтой и «на коробке». Это по-сахалински... Короче, «на автомате» и «на механке».

Маша подвинула кресло, подправила рукой зеркало:

– А с боковыми как?

– Да так же.

– Хм. На коробке...

– Тебе удобно?

– Ты что, меня проверяешь?

– Я всё проверяю.

– Я не люблю, когда меня проверяют. Я сама всех проверяю. Теперь с этим автоматом разобраться... или как ты его называешь...

– О-о-о!... – протянул Женя. – Всё понятно!

– Евгений, не грубите, пожалуйста!

– Я, Мария, не грублю, я удивляюсь, на чём вы там ездите. В своей Москве... Ну всё. На «дэшку» ставь, отпускай тормоз и не бойся, она сама поедет...

Маша отпустила тормоз и тронулась, победно укусив воздух нежными кастаньетками. Сначала медленно, потом пошла побыстрее, потом освоилась и, сделав круг по кварталу,

остановилась. Уже темнело.

– Ничего страшного. Непривычно только. И губы пересохла, – она покопалась в сумочке, – а у меня блеск кончается. Они и так шершавые.

Она, будто прислушиваясь, провела кончиком языка по нижней губе. Вынула из сумочки и повернула гильзочку помады. Выехало косое стёртое острие. Глядя в зеркальце, кругля и растягивая рот, она провела несколько раз по натянутой коже.

Оглушительно тихо стало на душе. Если раньше её забирало по кусочкам, то теперь всю свело жидким азотом, и наркоз достиг такой силы, что охватил всё вокруг, и время застыло в ознобе, готовое вот-вот навсегда отойти, если ещё промедлить.

– Правда, шершавые? – онемело спросил Евгений.

– Совсем. Почему ты спрашиваешь?

Слова еле шевелились, теряли власть, замерзали и распались на буквы, как на льдины. Льдины почти поравнялись, и нужно было точнее, безошибочней шагнуть, и чем извилистей, подробней становилась кромка, тем сильнее требовала совпадения, и ошибиться было нельзя.

Её губы незнакомо пошевелились навстречу, чуть прохладно, чуть щекотно, чуть беспомощно, словно извиняясь, стесняясь, что ещё не привыкли, не приладились. Потом ответили тягуче, влажно. Левая рука её была согнута, упиралась в плечо, но вскоре ослабла, опала, а потом ожила и об-

няла его за шею.

Он оторвался. На губах холодел воск бесцветной помады. Он посмотрел на неё далёким взглядом:

– Ты... ты какой пробы?

– Твоей... – сказала она бессильно.

– Мне через две недели снова надо будет приехать. Ты меня встретишь?

– Я тебя встречу. А ты правда приедешь?

– Правда. А ты мне ещё расскажешь про Океан?

– Он тебе понравился?

– Мне понравился ты... А там правда такие смешные вороны?

– Про них даже анекдот есть. Сидят мужики и картошку пекут в костре. И вот ворона припрыгала и лапой пытается картофелину выудить, и крылом вот так вот прикрывается от жара.

– Хм... Ты смешной... А как тот японский городок называется?

– Немуро.

– Жалко, что они там умирают.

– Они не совсем умирают... Они перерождаются, что ли. Ты знаешь, что там в больших городах самый шик ездить на леворукой европейке. По-моему, это очень по-русски.

– Да, но только мы слишком много говорим о машинах. Почему?

– Потому что когда я вижу, как идёт с востока праворукий косяк с транзитными номерами и сияют фары, то на душе хорошо и крепко становится...

– От чего?

– Ну, от того... что у них охотский туман в багажниках... и что есть в этом какая-то... обратная правда...

– Поэтому ты их любишь?

– Я не могу объяснить... Я, может, даже не их люблю... а ими... Я раз гнал машину из Владивостока и где-то, не доезжая до Уссурийска... В общем, ночь, трасса, а впереди идёт старый рамный «краун», «кроун», как здесь говорят, задние фонари, длинные, парные лампочки в них, и вдруг от этих фонарей меня таким... чувством Родины обдало... что я чуть не заплакал. Такая она... странная... и лежит так понятно... и я подумал, что это наша земля делает их такими... и что подальше положишь – поближе возьмёшь. И ещё, что у вас там ничего не знают о России. Вам кажется, что чем дальше от Москвы, тем жизнь слабее, и сначала действительно вроде как провал, а потом начинается совсем другое. И оно, может быть, и скудней, и голодней, но как-то святей, крепче... и вы так далеко от всего этого, не по расстоянию, конечно, а по духу, что если вдруг какой-нибудь остров сорвёт с якоря штормом и поднесёт к устью Невы, то там его не узнают.

– Вот о чём фильм надо снимать.

– И как он будет называться?

– «Тойота-креста»... – Маша задумалась, – ну, «Тойота-креста»... и... и?

– И другие...

– А другие – это кто?

– Ну там, «короны», «чайзеры»...

– «Ниссан-дурачок-абсолют»... Другие – это мы. Мы же теперь другие?

– Совсем...

– Про что он?

– Про человека, который живёт на Енисее и гоняет в Красноярск машины из Владивостока...

– И знакомится с московской девушкой. И рассказывает ей про остров... как...

– Танфильева... А для неё это так далеко, что она не хочет ничего знать и уезжает. И он едет к ней в Москву... чтобы привезти ей немножко...

– Обратной правды...

– А она работает на телевидении. И очень любит ездить по магазинам на сытой немецкой машинке и собачиться с продавщицами...

– А-а-х! Как тебе не стыдно!

– И каждые выходные ходит в клуб. Там прозрачный зелёный пол и такая монотонная музыка, что кажется, ворочается ротор. И белые рубашки горят с лазерной яркостью в синем луче, и лица кажутся химическими и ненатуральными... А он едет и едет... и тюменские ребята, которым он не хочет платить, разбивают монтировкой фары, и на стоянке в Челябинске «камаз» сминает багажник, и оттуда вытекает охотский туман... и когда он приезжает в Москву, от маши-

ны ничего не остаётся, как у того старика от его рыбины. И сам он так меняется за дорогу, что...

– Что девушка становится ему не нужна... хм... Но ты всё равно приедешь за мной в Москву на белой «кресте»?

– Всё равно. А ты правда вернёшься?

– Правда. Если ты меня подождёшь... И не уедешь в Немуро... Ведь ты не хочешь, чтобы они умерли?

Маша улетела. Была работа, и он выезжал сквозь облака на умытую дождём дорогу по сопкам. И туман сначала казался далёким, а после заезда на серпантин наступил огромными живыми клочьями, наваливался медленными пластами и поглощал стеной, крупно клубясь и сеясь почти каплями. А когда отходил, в его молоке проступали свечи огромных пихт, и было вид но, как медленно повторяет поворот лесовоз с тремя необхватными мокрыми кедринами.

И особенно острым после дождя был запах свежей лиственничной хвои, и возле мангала с шашлыками – дорожный, дымный. В сухую погоду трасса блестела миражными лужами, и глядели сквозь дымку горы, то отступая, то подползая под дорогу, вздымая её где отвесной тайгой, где замшевыми курганами с чёрной щепой могильников.

А сколько раз эта же трасса угнетала, давила – холодная, жестокая и сумрачная. Сырой снежной осенью или в чёрно-белую оттепель слякотно шуршала под колёсами, неслась мангалами с сизым дымом, разбитыми машинами, вагончиками шиномонтажа и «камазами» с разобранными мостами, с машинами у горящих скатов. И когда ночевал в мотеле под Новосибирском, не стихала и жила своей бездушной и отстранённой жизнью, и всю ночь проносились дальнбойщики и синим утром заворачивали на стоянку, устало шипя тор-

мозаи и светясь фарами.

Или Усинский тракт возле «Полки», с двумя снежными отвалами, сахарными хребтами в человеческий рост, и лежащий на боку по-над пропастью бензовоз, навалившийся на кедр, и рядом на фуфайке спящий тувинец.

И морозным утром крепкий парок выхлопа, и окрестные огоньки будто протёртые спиртом, и запах дымка, и какая-то совсем иная плотность существования, и хрустящие шаги вокруг машины, и колесо, которое с шорохом и скрипом поворачивает гидроусилитель, и заднее стекло, оттаивающее полосами.

И как с Севера через Енисейск проносятся все в запасках и тросах заиндевелые «камазы» и «уралы». И как заехал раз на гору по зимнику, и там, терпеливо его пропуская, стоял, как на лапах, на огромных колёсах «урал» с почти мальчишкой в кабине. И прохладные деньки осенью, когда всё напитано болью, нежностью и склеено такой любовью, что, где ни коснись, отзовется по белу свету гулко и призрачно... и непостижимость и расстояний, и самой жизни на Земле, которая тогда и открывается, когда день изо дня бороздишь её непомерную плоть...

Лето. Заправка посреди хакасской степи. Горы. Синие ирисы. Полынь. Великая степная тайна. Вот она – совсем под ногами лежит. И плавится воздух над горячим асфальтом и расслаивается на миражные пласты. Подруливает праворукий бензовоз «хино» с надписью «ООО Сангилен. Оптовые

поставки нефтепродуктов». И представляется плоскогорье Сангилен на юго-востоке Тувы. А из бака струится марево, и воздух заваривается, и его ведёт, а вместе с ним и душу, и он стоит на земле и слышит, как сплетаются и расплетаются дороги... Я не хочу быть европейцем... Она никогда не будет здесь жить... А где нет этого воздуха и синих ирисов, я не выживу... любовь – это когда умеешь быть одиноким там, где не бывает попутчиков.

От струи бензина, льющейся в бак, воздух всё гуще дрожал и плавился, как оргстекло на огне. И едва машина трогалась и набирала скорость, становилось понятным, насколько плотно то, чем мы дышим, и что есть вещи, умирающие при остановке.

За эти две недели доросло-дозрело всё то, что должно было дозреть, и заговорилось с Машей, как раньше не говорилось – легко и спокойно, будто любовь вздохнула и расправилась на всё крыло.

... Чем ближе к аэропорту, тем он сильнее немел, чувствуя, как отдалилась Маша за разлуку, и, когда её увидел, его и вовсе откинуло на тысячу вёрст. Другая жизнь сквозила в каждой её черте, она была омыта в ней, как в нежном масле, и сияла мягко и сдержанно.

В серых глазах минеральная зеленца, крупные ресницы едва обозначены тушью. Подстриженные волосы лежат светлым пластом, перелив от русого к белому, опалённому, ещё тоньше, просчитанней. Ноги под чёрной юбкой голые,

летние, ремешки туфель плотно оплетают подъём. Ступни небольшие, пальцы собранные, загорелые, ногти тёмно-брусничные... голая рука придерживает чемодан с выдвижной ручкой и латунным замочком.

Опустив ресницы, подставляет щеку, издаёт понимающий и отстраняющий стончик. Говорит про духоту в самолёте. В машине, когда он берётся за рычаг автомата, осторожно кладёт кисть ему на руку:

– Ты скучал?

– Я чуть не спятил. Мы поедem в твою гостиницу?

– Да, – нежно и обречённо тихо.

Без голливудских телепроектов и Каннского фестиваля, без показа мод в гостинном дворе, без банкета в Балчуг-Кемпинском, без прохладного офиса на Ордынке, без лакового немецкого автомобиля, без просторной квартиры на Кутузовском, без банкомата с тёплыми и будто ненастоящими бумажками, без светящихся магазинов с фонтанами, барами и боулингами, без сауны с травами и томно лежащими женщинами, без бассейна с неестественно изумрудной водой...

Без мечты об умном, преуспевающем и нежном с местом международного журналиста в Вене, без серебристой норковой шубки, без чёрного брючного костюма, без сапожек с отточенными в шило носами, без тончайших колготок, без телефона с халцедоновой крышечкой, без часиков на ледяном и плоском змеином пояске, без юбки, шёлково скользящей по бёдрам, без блузки, электрически липкой и искрящей в темноте...

Без тонкой, как струйка песка, серебряной цепочки, без блеска на приоткрытых губах, без тона на веках и туши на ресницах, без грифеля на расчётливо подправленных бровях, без яблочной жвачки в белых зубах...

Без чёрных туфель с непосильной оплёткой ремешков, без острых каблучков и стальных подковок. Без чёрного нежно-го лифчика с двумя заедающими крючочками. Без полупро-

зрачных и узких трусиков с чёрным ободком по поясу...

Она лежала в его руках.

И расступилась податливая глубина, и как в смертные секунды навеки приблизились и легли рядом дорожным потоком, цветными жилами – синие ирисы, сталь Енисея и ковёр тумана, переползающий остров Кунашир с Тихоокеанской на Охотскую сторону. И протяжной полосой пронёсся белый «марк» работы Кунихиро Учида со стойкой «плавник акулы», и серпантинное головокружение над пропастью вознеслось меловыми пиками в Саянскую высь и оборвалось космическим небом, и звёзды запылали среди дня и рассыпались по телу золотой и колючей осыпью.

И тихо выступила из синевы стена монастыря и кедр с обломанной вершиной, и было покойно в чреслах и свято на душе, и голова её лежала на его плече. И птичьим шорохом, степным ветерком слетело: «Мне очень хорошо», – и слова, с генетической точностью вложенные во все женские уста, теперь принадлежали только ей.

– Расскажи мне что-нибудь, – проговорила она слабеющим голосом, и он начал рассказывать про то, как слоисто распластаны пихты на берегу океана и каким йодистым тленом тянет с берега, заваленного японскими поплатками и сетями...

А она уже засыпала, вздрагивая, догорая и тая, как солнце, в своей нежности, красоте, усталости. Губы были приоткрыты небу, как лепестки, и, как лепестки, чуть завиты, он

поцеловал их, и они ей не принадлежали и отвечали со все-ленской готовностью.

И это прикосновение уже ничего не значило, потому что он давно уже прошёл сквозь неё дальше и глубже, туда, где остановилось время и смешалось прошлое с будущим, став настоящим, и всё было в её пелене, налёте, тумане, и он глядел на родившийся мир, как сквозь плаценту.

А утром, проснувшись, она, не раскрывая глаз и улыбаясь, потянулась, поискала лицом что-то у него в шее, пряча сонный рот, и пробормотала:

– Там в холодильнике... Возьми два апельсина и лимон, и у меня такая крутилка... сделай мне, пожалуйста, сок...

И он взял отлитую из лилового стекла ручную соковыжималку, похожую на круглый остров с крутым и гранёным вулканом в середине. И половинка апельсина вращалась, как солнце на зубчатом острие, и густой сок стекал по лиловому стеклу, и это вдруг напомнило, как мешается на лобовом стекле лимонный омыватель с синим снегом. И снова подошла холодной льдиной его главная жизнь и встала вплотную к солнечному миру его женщины. И в который раз пронзило душу ледяной молнией, и он знал, что этот стреляющий шов никогда не зарастёт.

Потом она ела яблоко. Откусывала и жевала совсем медленно, и мякоть рассыпалась с нежным шелестом на мельчайшие шарики, и они лопались, и она слушала их шуршание, как музыку, и улыбалась ей, закрыв глаза.

И лежала на боку, чуть согнув колени, в халате, недостёгнутом на две пуговицы, и видны были бёдра с нежнейшими пупырышками, мягкие и прохладные. И когда встала и подошла босиком к окну, больше не отдавались её шаги грозным дорожным цоканьем, и ноги казались беспомощными, и ступни плоско стояли на полу и никуда не торопились.

И только туфли ждали поодаль, как распряжённые чёрные лошади.

– Ты знаешь, что нас пригласили на Саянский карнавал?  
56 – А ты знаешь, что у меня здесь работы на три дня и дальше я целые десять дней свободна?

Они пересекли Хакасию, перевалили через Саяны в Кызыл, а оттуда проехали на самый юго-запад Тувы к хребту Цаган-Шибэту.

Под Абаканом директор заповедника Гена Киселёв, старый товарищ Жени, поселил их в коттедже на берегу солёного озера, и они лежали на прозрачной синеватой воде, и она держала их с морской лёгкостью. А потом сидели за столом, закусывали черемшой и форелью, и Гена поднимал стопку и смотрел, прищурясь, на Машу, и говорил, какой же ты всё-таки гад, Жека, и спрашивал Машу, не надоел ли он ей со своими машинами.

На Усинском тракте они стояли над Саянской далью и глядели на выгнутые пики Ергаков <sup>1</sup> с пятнами снега. И поражало, с какой отвесностью и безо всякого перехода и разгона растут горы, и как густо покрыты огромными кедрами и пихтами, и как лепятся вытянутые в струнку кедры по рез-

---

<sup>1</sup> Ергаки – хребет в Западных Саянах. Его вершины – острые, порой неприступные пики высотой более 2000 м. Скалы-останцы напоминают пальцы, отсюда и название, которое с древнетюркского так и переводится. Ергаки хорошо просматриваются с Усинского тракта.

ным и узким, как лезвие, гребням сопок.

Они ели шашлыки в Арадане и ехали дальше, и даже Маша заметила, как на тувинской стороне Саян тайга подсушилась лиственничником, но вскоре и он остался лишь по северным склонам – «северам», и горы постепенно остепнились, спали, и снова замаячила лента Енисея и замрел в синеве Кызыл, столица Тувы.

Они проехали на юго-запад по долине Барлыка почти до самых Мугур. Пешком поднялись на Цаган-Шибэту и пили чай на перевале среди горной тундры. Шёл снег, и жарко горел костёр из карликовой берёзки, и Машино лицо горело от солнца, и он принёс ей букетик эдельвейсов, похожих на маленькие морские звёзды.

С Цаган-Шибэту они глядели на огромный простор, зелёный, жёлтый, лиловый и шахматно-пятнистый от облачных теней.

Виден был западный Алтай, с юга – Монгольские горы в снежниках, а прямо перед ними светилась Монгун-Тайга, гигантское четырёхтысячное сооружение в шапке вечного льда и снега. И срывался беркут и парил под их ногами, а они ночевали в палатке на берегу Барлыка, и с утра их встречала режущая горная свежесть и пронзительный крик альпийских галок. Проехал тувинец на лошади: «Мясо сурка будем есть?» – и через час вернулся со свежедобытым тарбаганом, и его мех пах кофе. Он приготовил его в котле, и они ели, обливаясь прозрачным жиром, и лицо её было загорелым и

счастливым.

Из Кызыла возвращались через Шагонар и приехали в Шушенское к началу Саянского карнавала. На день съездили в Казановку, Аскизский район, где стоит стела Ахтаз из белого гранита и в котловине, окружённой сопками, нежность ковыля, чабреца и полыни достигает райской несбыточности. И среди редких лиственниц сереет каменный бок сопки, и Маша приложила к нему лист бумаги, ярко горящий на солнце, а Женя сорвал пучок сочной степной травы, потёр лист, и на нем проступил зелёный конь.

А на обратной дороге остановились возле могильника, и все вышли из машин и автобусов, и в этот момент подъехали на «уазике» несколько хакасов из ближайшего села и налили всем вина, и главный из них, оглядев древнюю землю, колыбель сибирских народов, сказал, подняв стакан:

– Высокому степному небу – Сег! Древней земле Аскиза – Сег! Синим горам Хакасии – Сег!

И все стоящие вокруг, и Маша, широко открыв глаза, повторили это слово «Сег!», переводящееся как «слава» и означающее великую причастность человека к Земле.

В Абакане в гостинице «Хакасия» трещал, как жук, и надрывался, повторяя руслице нехитрой мелодии, телефон с халцедоновой крышечкой, и Маша, не шелохнувшись, говорила: «Пускай звонят», и стояло в её глазах выражение спокойствия и торжества.

И было открытие Саянского карнавала в Шушенском, и

на площади в полной темноте стояли и сидели на земле несколько сотен людей из разных углов Земли. В середине пылал костёр и сидел тувинец с бубном, и плясала старая тувинка с широким и грозным лицом. И вся эта картина озарялась негаснущими вспышками фотоаппаратов, и гул бубна уходил в землю, и она сама гудела, как бубен.

А неподалёку сияла сцена с проводами и аппаратурой, и пела хакасская молодёжная группа, и звук басов был тем же голосом бубна, но усиленным в несколько сотен раз. Он пронизывал тело насквозь, сотрясал землю, и она отвечала тектоническим рокотом.

Утром ходили в заповедник деревянного зодчества, огромную деревню из нескольких десятков домов, свежённых и спасённых вместе со всей утварью со всех окрестностей. Многие избы были срублены из распиленных надвое повдоль огромных кедрин, и углы казались сложенными из лунных половинок. Там работали мастерские, в бондарной сушилась кедровая клёпка, пахло свежим деревом, всё было завалено стружкой и освещено солнечным светом свежего дерева. Молодой парень-бондарь, показывая инструменты, сказал: «Вот это уторник», и почему-то добавил: «По-нашему, посибирски, зауторник».

У нескольких изб стропила продолжались из-под крыши и загибались, держа желоба для воды.

– Это курицы.

– Почему они курицы? – спрашивала Маша своим краду-

щимся голосом.

– Я не знаю... Но они делаются из цельного дерева, и этот загиб естественный, там, где ствол переходит в корень. А дождевая вода из желоба называется поточной. Так и говорят: поставить бочку под потоки.

В Абакане шёл «Чир Чайан» – международный фестиваль абаканского театра «Сказка», и они смотрели спектакль «Алтын Аях», и снова пела степь, и говорили курганы, и гудела земля, как бубен, и двое людей любили друг друга и были частью этого гула и не искали большего смысла в своей жизни. На другой день показывали фильм Куросавы с Соломиным и Максимом Мунзуком. И приехало полно французов, у которых с Мунзуками была своя старая дружба. Два тувинских паренька перенеслись через Саяны на роскошном «лауреле-медалисте», и он стоял возле театра со своими фарами «крылья бабочки» и буквой «L» на ножке. Молодой француз, горбоносый брюнет, захотел посидеть в невиданном автомобиле и, когда тувинец распахнул для него дверь совсем не с той стороны, откуда он ожидал, удивлённо и восхищённо вскинул руки и открыл рот.

Последним вечером в гостинице Маша села к Жене на колени, внимательно провела губами по щеке, чуть прихватила зубами, сказала шёпотом:

- Ты молодец. Спасибо тебе.
- Тебе правда понравилось?
- У меня никогда не было такого путешествия.

– А у меня такой путешественницы.

– И ты не пожалел?

– Я не пожалел... А что тебе сказал тот француз?

– Он сказал, что ему тоже понравилось.

– А мне понравилось, как он ломанулся «лаврику» не в

ту дверь.

– Ты опять всё переводишь на машины.

– Я же не на все машины перевожу...

– Я тебя покусаяю... Они неправильные...

– Они лучше...

– Всё равно... Это неправильно.

– Что неправильно?

– Что они лучше... и что здесь с таким рулём ездят... Ко-

гда ты меня целуешь...

– Ты думаешь про машины...

– Что названия у них дурацкие... У меня сводит...

– Названия отличные.

– Самые глупые... Низ живота...

– Живот... Самая красивая часть... кузова...

– Почему?

– Потому что я его люблю...

– Я тебя покусаяю...

– У тебя иногда бывает сердитое лицо. А у него всегда

доброе.

– Как ты узнаёшь?

– На ощупь... Тебе здесь нравится?

60 – Да... Но... Ты знаешь... Я разговаривала с этим парнем, бондарем, вся эта жизнь, она... как тебе сказать... ну, еле сама себя тянет. Красиво, интересно, конечно, казачий хор... театр... музей... но на это не проживёшь.

– Ну они же не ради денег работают.

– А ради чего?

– Ну как ради чего? Это же просто...

– Я не думаю... Но ты не любишь эту тему...

– Я же предлагал про машины... Я тебе показывал «сурф» в новом кузове?

– Смешное выражение «в новом кузове». Вот бы у людей так было... Пошла Маша в новом кузове.

– Ты мне в этом нравишься...

– Эт-то... к сожалению, ненадолго...

– А в другом я тебя не узнаю...

– Узнаешь...

– Как?

– По вредности. Теперь ты понял, зачем деньги?

– Зачем?

– Чтобы следить за кузовом. Тебе же нравится, когда всё... как положено. – Голос её стал прохладнее. – А ты... разбираешься... В машинах...

– Перестань... Кстати, ты знаешь, как отличается немецкая машина от японской?

– Как?

– Как бургер... От самурая. Это я придумал.

– И что?

– Ничего.

– Женя. Что ты хочешь?

– Чтоб ты здесь жила...

– Слушай, – сказала резким, ледяным голосом. – Ты пойдёшь ради меня в бургеры?... Почему ты молчишь? Пусти...

Она встала и вышла на балкон. Он подошёл к ней, обнял, она дернулась, окаменела. Потом постепенно оттаяла, Женя взял её на руки, занёс, положил на кровать. Она сказала совсем тихо, ему в шею:

– ...Зачем ты меня ломаешь? Ты же всё решил... и я ничего не прошу.

В Красноярске вдруг потянуло чем-то предосенним, листва зашумела суше, и раньше наступил вечер. Маша весь день работала, Женя тоже сделал кое-какие дела, напечатал фотографии и заехал в гостиницу.

– Хм... хорошие фотографии... Мы поужинаем?

– Да. Только я машину оставляю.

В суши-баре почти никого не было. На смуглой дощечке ярко-зелёный вассаби напоминал червячок краски. Соевый соус в плошке казался тёмным, как дёготь, а розовые пластинки имбиря эфирно-жгучими. Евгений размешал вассаби в соусе и обмакнул в него кусок тунца. Маша подняла рюмку:

– Давай выпьем, знаешь за что? За то, что у нас сейчас есть. Всегда кажется, что будет что-то ещё, а это... не так, потому что каждый раз сгорает что-то важное и потом уже ничего не вернешь... Давай выпьем за то, что есть...

– Давай...

Ролл с лососевой икрой впитывал соус, как губка. Икра мелко лопалась на зубах.

– Как твоя работа? И что с Фархудиновым?

– С ним не всё так просто. Я тебе говорила. То, что пытается сделать Григорий Григорьевич, это всего лишь маленькая часть того, чем занимается наш медиа-холдинг. И руко-

водство с самого начала к его затее относилось скептически и профинансировало только частично. Остальное предполагалось получить через региональных спонсоров, с которыми я работаю по другим проектам. Ты помнишь... Мы набираем девушек по всем городам, они приезжают в Москву, и там из них делают супермоделей. Это, конечно, не сразу происходит, и мы хотим показать, как они меняются и чего можно добиться, если захотеть и работать. Эта такая летопись... Начиная с самого первого кастинга, и дальше, как они приезжают, как с ними начинают заниматься... пластика... спорт... как играют в теннис, плавают, скачут на лошадях. Как знакомятся с режиссёрами, артистами, модельерами. Это большая серьёзная работа... Всё нужно организовывать. Аренда помещений. Съёмки... Спонсоры... Сотни людей. Ты не представляешь... Приезжаешь домой, и не хочется ни-че-го...

– И что они умеют?

– Ну, обычно сначала они ничего не умеют, только свинячить в гостиницах. Но их учат.

– А если они не захотят? – спросил Женя.

– Что не захотят?

– Ну, скакать?

– Как не захотят? Они не могут не захотеть. Это же сценарий.

– Странно, такой сыр-бор ради того, чтобы они поскакали на московских лошадях. Что, они не могли у себя в деревне это сделать?

– Что?

– Ну, проскакать?

– Так... Ты специально?

– Я действительно не понял, зачем всё это и что дальше?

Только для того, чтобы все устроители смогли бы уже по-настоящему обедать с режиссёрами, играть в теннис и скакать на лошадях?

– Ты злой.

– Я обычный. Ты снимаешь про каких-то кобыл, которые не захотели скакать у себя в деревне и поскакали скакать в Москву и свинячить в гостиницах. А мой брат живёт, где родился, никуда не скачет и нигде не свинячит. И всё из-за того, что тебе насыпали в пупок меньше золота, чем вы думали, про него не будет фильма, а про тех будет.

– Ты меня очень обижаешь и удивляешь. Да, действительно мне насыпали золота, но пупок, как ты теперь успел заметить, не настолько большой, чтобы оплатить ещё и расходы Григория Григорьевича. Он думал, что мы продадим Фархудинову по цене телевидения рекламное время. Но это всё равно, что расплатиться этим временем с твоим братом Михалычем, а спросить соболями... У нас два проекта: «супер-модель» и «крепкий хозяин». Но скорее телевидение накроется медным тазом, чем «крепкий хозяин» побьёт «супер-модель» по рейтингу. А поскольку у моего мужа амбиции самурайские, а душонка бургерская (на что я вредная, а он вообще с калькулятором в ресторан ходит, я отвлеклась), да... и

он всю жизнь сидит между двух стульев, то его главной задачей стало продать шкуру неубитого «хозяина» по цене снятой «супермодели»... Понятно, что из этого ничего не вышло. А недавно выяснилось, что Григорий Григорьевич организует свою кинокомпанию и его расходы возрастают. И я попросила руководство больше не отвлекаться на посторонние проекты, поскольку с самого начала была против «крепкого хозяина», так как на это не проживёшь.

По мере разговора её лицо становилось всё более сухим и раздражённым.

– Ну, вообще-то ты зря так, он же хорошим делом занимается.

– Может, мне к нему вернуться? Счёт принесите нам, пожалуйста! А скажите, девушка, вы из Японии?

– Нет. Из Казахстана.

– Чувствуется. Это сашими сколько стоит? Проверьте, пожалуйста, как-то не сходится...

На стоянке стояли две потрепанные европейки, Женя брезгливо прошёл мимо и стал ловить машину.

– Куда ты? Вот же машины стоят!

– Я в эти дрова не сяду! Вон «спаська» идёт! Давай на «спаське»!

– На какой ещё «спаське»? Никаких «спасек»! Женя, мне надоел этот жаргон. Ты можешь нормально говорить?

– Нет. Вернее, да. Хорошо. На «тойоте-спасио».

– Нормально – это без жаргона и не о машинах! Только

быстрее. Я устала.

– Здравствуйте!

– Добрый вечер! Куда ехать?

– В «Красноярск».

– Садитесь.

Женя хотел обнять Машу, но она сидела напряжённая, как струна, дёрнула плечами, настроилась на разговор с водителем. Тот оказался словоохотлив:

– Хорошо поужинали?

– Спасибо. Приемлемо.

– Я пил sake. Вам сидеть удобно? Маленькая она всё-таки.

Я вообще-то «ипсунá» хотел.

– Простите? – не поняла Маша.

– «Ипсуна».

– «Тойоту-ипсум», – перевел Женя.

– Спасибо, Евгений.

– Но. А привёз «спаську», – ободрился водитель.

– Из огня да в полымя...

– Оно так и есть. Планируешь так, выходит сяк.

– Ну. Хочешь одно, выходит другое.

– Мудришь, мудришь, а всё одинаково приятно. Всё правильно. Чо далёко ходить? Тут один, слышь, брат, поехал во Владик за «сиэрвухой».

– Жень, может, нам на другой машине поехать?...

– Не волнуйтесь, Мария, я переведу. Наш водитель говорит, что его знакомый поехал во Владивосток за «хондой».

си-эрви».

– А евоный, короче, кент нехило сдал трёпа косорылым. А у него...

– Его тамошний друг выгодно продал китайцам партию трепанга...

– А у него в огороде стоят «зубатка» и «хомяк». И он говорит, что если тот их заберёт, то отдаст ему по цене «си-эрвухи» нолёвого «хорька». Плюс колесья за косарь бакарей.

– У него стоят две старые машины: «корона» 89-го года с зубастой решёткой и микроавтобус «ниссан-хоми». Если тот их покупает, то он ему продаёт по цене «хонды» новый паркетник «тойоту-харриер». Вместе с комплектом колёс за тысячу долларов.

– Жень, всё, достаточно. По-моему, ты пьян.

– И что дальше?

– А дальше у него зёма в Техасе на «рысаке». Он на моряке привёз «яйцо», «гайку»-конструктор и «сайру».

– В общем, у него друг на станции Тихоокеанская, работает на «эрэсе» – рыболовном сейнере. На большом пароходе он привёз «яйцо» – микроавтобус «тойоту-эстиму» с круглой крышей, мини-вэн «тойоту-гайю», растаможенную по запчастям, и «тойоту-соарер». Серьёзный спортивный автомобиль.

– Я тебя ненавижу!

– А третий кент евоный только что колотит «целку» и хочет её впарить ему вместе с «надюхой». А себе взять суперо-

вого «цифиря» и «кубик» для тёлки.

– В общем, ещё один знакомый разбивает купе «тойота-целика» и хочет продать её вместе с мини-вэном «тойота-надя», а себе купить седан бизнес-класса «ниссан-цефино» с суперсалонном и городской автомобильчик «ниссан-куб» для любимой девушки.

– Я не слушаю!

– Короче, у него вилы: братъ «надьку» с битой «целкой» или разборную «гайку» с целой «сайрой».

– И что тогда?

– И тогда он посылает всё на хрен, берёт «вэдовую» «воровайку», грузит в неё «хорька» с «хомяком» и прёт на Хабару.

– А «яйцо»?

– «Яйцо» бьёт во Владике. О пожарный «Урал». Всё. Приехали.

– Сколько с нас?

– Сто двадцать.

– Вы знаете, это много, – вдруг сказала Маша. Глаза её были широко открыты, губы напряжены, и слова вылетали сжатыми и твёрдыми комочками.

– Как много?

– Так много. Это стоит сто рублей, – отчётливо и медленно сказала Маша.

– Да ладно тебе, Маш.

– Нет, не ладно. Это стоит сто рублей, – отчеканила Маша.

– Дамочка, извините, но вы не правы!

– Так, зёма, держи... Давай, всё, пока.

– Сколько ты ему дал?

– Маш, ну из-за двадцати рублей!

– Вот меня и возмутило, что он из-за двадцати рублей упёрся! У меня такая работа, что я всё время с людьми, и я люблю справедливость. Я знаю, что такое труд и что такое деньги. С меня самой очень строго спрашивают, и я привыкла выполнять свою работу на «отлично», и когда прихожу в магазин или тем более в ресторан отдохнуть от своей работы, то требую от других того же отношения... и когда какой-то таксист из Красноярска...

– Не понял.

– Что ты не понял?

– Что значит какой-то таксист из Красноярска? Он такой же, как я. Я тоже таксист... только из Енисейска.

– Ты не таксист!

– Так, а кто я?

– Я не знаю, кто ты... Я знаю, что, когда твой брат упёрся из-за двух литров бензина, он был герой и подвижник. А я плохая. Я собачусь.

– Я так не говорил.

– Ты так думаешь. Мне нужен сок. Здесь закрыто. Давай на твоей машине доедем... Только я сама, ты выпил.

Вся как тетива, лицо жестокое, волевое, глаза стальные. Ступает быстро и решительно, мелькают острые носы ту-

фель, брюки трепещут чёрными флагами. Говорит как режет, крепкие губы шевелятся, дрожат, не остановишь поцелуем, угол рта срабатывает некрасивой оттяжкой.

Гудела водка в голове, и душа ходила из берега в берег, но уже завязывался над стихающей волной стылый туманчик, и Женя не понимал, что происходит с его любовью и почему она позволяет обиде так себя остужать. И почему у этой обиды такие же стальные глаза, как у Маши, и она так неумолимо переходит в какое-то подножье, даже в стену, высокую и незыблемую, как представления об основах жизни, в высокогорный узел, откуда расходятся все остальные хребты. И они замаячили, будто стояли всё это время поодаль и наблюдали, что будет, и наконец вступились. И чувствовались студёные выси этого тыла, и хотелось, чтоб они были общими для всех, а выходило, что у кого-то они свои, мелкосопочные, и нужно к ним пригибаться, а горы видят. И тогда всё меняется, потому что остальные – и его братья, и, главное, Григорий Григорьевич – давно стоят в защите его высокого-рья.

И померкла красота, и ласковые её губы стали лишь назойливыми ломтиками щекочущей плоти. И всё крепче восставала его главная жизнь, и, дождавшись своего часа, мешался снег с лимонным омывателем, и бешено ходили дворники и протирали замутившийся мир, и чем больше убывало правды от Маши, тем больше его перетекало к Григорию Григорьевичу, к Михалычу, к Андрюхе.

У Маши зазвонил телефон. Она остановила машину, пошла по улице, склоняясь к трубке, стройная, решительная, резкая. Долго говорила. Вернулась, и он услышал последние слова:

– ...бы тебя погрузили в «воровайку»! Ублюдок!

Села, обратила к нему своё пылающее лицо, горящие глаза:

– Не выношу... Всё, я разменяю квартиру! И лучше в Красноярске куплю, чем...

– Погоди. Давай...

– Стой, – замерла Маша, – как это погоди?

Всё ещё давила духота, и расходились два огромных материка, рвались, разлеплялись с кровью, и стывшая вода между ними светилась горным серебром. И всё личное выключилось, и только вершины хребтов белели, и он подчинялся им, как солдат. И всё земное, тёплое, слякотное отошло от души, и был он как дождевая туча, которая ползёт вверх по горе и подсушивается, стынет, просыпается снежком. И в молочной пелене он уже не видел происходящего внизу и говорил издали и не своим голосом. И редкой сухой крупкой сеялись выстывшие слова:

– По-моему, не стоит с ним так обращаться. Что бы там ни было, вас столько с ним связывает...

И тут произошло страшное, она побледнела, округлились и налились слезами её глаза:

– А-а-ах! Ты испугался... Ты испугался, что я приеду! Я

увидела по твоим глазам. Ты испугался! Всё, уходи. Уходи от меня.

Лицо её было открытым, глаза глядели прямо, и губы шевелились отрывисто и были твёрдыми, как виноград. Она выскочила из машины, бросилась к проезжающим фарам:

– Всё, не ходи за мной! Оставь меня в покое! Я сказала, не ходи! В «Красноярск»!

Он медленно подъехал следом, остановился у гостиницы, позвонил.

– Я ложусь спать! Уезжай! Я выключаюсь!

Он подремал в машине и под утро уехал в Енисейск. Душа отходила от раздражения, и боль становилась невыносимой. Всё было зияющим отпечатком Машиной нежности, дыхания, и мир казался огромным разъятым поцелуем, а сам он – его высохшим слепком. И разъятость становилась предельной, и если раньше просвет её губ сквозил тихим разрядением, то теперь там гудел север и туда, сминаясь, как лепестки, летели все дороги, горы и звёзды.

Отнималась и ныла каждой трещиной не только дорога до Енисейска, а болел весь Красноярский край с Таймыром и Эвенкией, с Хакасией и Тувой, Танзыбеем и родниковым Араданом, с Усть-Бирью и Манским Белогорьем. С Енисеем в болезненной зыби, со всеми любимыми названиями, опетыми и оласканными её губами. И это дикое одиночество было перенасыщено дождевой влагой, тоской шелестящей листвы, блеском мокрой улицы – всё казалось плотским, тя-

жѐлым, настоящим.

Раненая белая «креста» стояла около дома, и страшно было к ней подходить, видеть пустое левое сиденье. Он открыл капот и вынул щуп – тот был в густом багровом масле. Он отёр клинок и загнал обратно в бок двигателю. Отошёл от заколотой «кресты», понимая, что ничего не может сделать с загубленным миром.

Он судорожно искал дела и заехал к ребятам забрать запаску. Там тоже всё было зряшное, вхолостую вращался наждак, работала сварка, парень выкатывал колесо. Он поймал себя на какой-то панической чуткости, липучей внимательности к происходящему, что-то расспрашивал, цепляясь к тому, что никогда не интересовало, перешушывая каждый штрих жизни и боясь, что он закончится. И люди отзывались, отвечали, не подозревая, что перед ними не человек, а огромный налитый горем пузырь. И не хватало воздуха, и ничего не было, кроме её губ, и хотелось припасть к ним, как к кислородной маске.

Он оставил машину у дома и пошёл в гору, где стоял белый монастырь с облезлыми стенами, и в его северо-восточном углу темнел вечной болью и надеждой кедр с обломанной вершиной.

Всегда трудно было входить в эти стены. И насколько иной казалась плотность смысла, ответственности, важности того, что там решалось, настолько внешний мир казался разреженным и бездумным. Никогда этот обломанный кедр и еле

живой монастырь не стояли так ясно в своей заботе, надежде и скорби. Но только теперь давление боли внутри и снаружи этих стен наконец сравнялось, и Евгений спокойно вошёл в ворота.

Это был всё тот же монастырь с руинами пивзавода, встроенного в монастырскую стену. С тем же битым кирпичом, досками и углем. С наполовину побеленным храмом, с его живой боковой частью, где стояло семь старух, три женщины, два мужичка и четверо ребятишек. Чуть потерянные, бледные, с прозрачными глазами. Отца Валерия, его духовника, не было. Пришёл настоятель, отец Севастьян, окропил всех святой водой и служил.

Евгению казалось, все видят его набрякшие глаза и собрались ради него. И так тихо, ответственно, чисто горели свечи, что, едва он зашёл, стало невыносимо тяжело от себя. Он стоял как в шкуре, в броне своих точных рук, мышц, загара, опыта. Он пошевелился, и всё это заходило, заскрежета-ло и зачесалось, как короста... и всё мужское, нажитое стало отслаиваться, отпадать коркой, пока он не превратился в огромного ребёнка с пульсирующим багровым нутром и тонкой кожей.

И ребёнок этот ревел: верните мне мою Машу. А ему говорили: мы не можем тебе её вернуть, потому что не отнимали и она вовеки твоя. И никакой земной справедливости нет. И никто даже себе не принадлежит, и надо принять её, какая она есть, огромно и спокойно и отпустить, а потом замереть,

и любовь сама подступит, как вода. И потопит, и промоет, не щадя и не жалея, и когда спадёт разлив, то оставит обсыхать на берегу, но уже на вечность выше.

Он стоял в маленькой очереди на причастие, к которому не готовился, и забыл про это, и глядел безумными очами на отца Севастьяна, и тот видел его насквозь... и дал просвирку и вина, и он стоял, как зарёванный ребёнок, один перед всем белым светом, и бабушка кормил его с ложки...

Потом он поставил свечку Богородице, помолился о Маше, и на душе стало выпукло, как на Енисее в большую воду. С этой водой в глазах он и вышел на свет, яркий и ненужно-слепящий.

Он дожил до вечера и осторожно вышел из дома. Закатное небо смотрело Машиними глазами, ветерок ощупывал лицо её руками, и даль говорила её голосом. Голос был нежным, поющим и остывающим.

От этого голоса его отделяло нажатие одной цифры на телефоне. Эту мысль он пережил, как перевал, за несколько секунд и поразился её необратимости. Телефон ожил огнями, как разбуженная гостиница. Пульс, как метроном, отхлёстывал время.

– Маша. Это я. Я не могу.

– Ты где?

– Дома.

– Ты приедешь?

– Да.

– Через сколько?

– Часа через четыре. Что тебе привезти?

– Ничего. Приезжай скорей.

Он завёл машину и выехал на трассу. Дорога больше не болела, и темнота привычно расступалась перед фарами. Снова бежало навстречу синее пространство, и все опоры жизни стояли по местам, как команда. И снова поражала постепенность, с какой одна местность перетекала в другую, и манила загадкой земная плоть. И казалось, люди намного лучше бы жили, научившись у Земли перетекать друга в друга так же неровниво, как она из себя в себя.

В холле сонная администраторша поздоровалась с ним как со знакомым. Маша медленно открыла дверь. На ней был халат.

– Я не покрашенная... ты хочешь есть? – Она задумчиво поправила ему ворот.

– Я тут тоже привёз что-то...

– Садись... ну как ты?

– Чуть не умер... Ну...

– Подожди... Давай поговорим...

– Давай...

– Бери... Знаешь... Я с таким трудом устроила этот отпуск... и мне было так обидно, когда ты сказал, что я... ну... не подхожу...

– Я не сказал...

– Но я так поняла...

– А мне стало очень обидно за моего брата и за Енисей...

Всё это так глупо...

– Да уж, как есть... А как там та девушка с почты?

– Настя? Я её не видел... Почему ты спрашиваешь?

– Просто. А те собаки?

– Отлично.

– Почему?

– Потому что им сказано, что делать, и они делают. Им сказано, кто кукушка и кто орлан. И если кукушке велено подбрасывать яйца, то она подбрасывает и не лезет в орланы... и только человек... Ему сказано не убивать, не гордиться, беречь Землю...

– Там про Землю не сказано...

– Разве не сказано мать почитать?

– Ну... сказано...

– Не смотреть на женщину с вожделением...

– А ты смотришь на женщину с вожделением? – медленно сказала Маша.

– Я смотрю...

– Но ты понимаешь, что оно... пройдёт?

– Понимаю. И что останется?

– То, что должно остаться.

– А что должно остаться?

– Наверное... покой и благодарность. Она протянула рюмку:

– Ну что? Мир?

– Мир. Она поставила пустую рюмку, помолчала, встала.

– Подойди ко мне.

– Ты злюка... – и её губы что-то искали у него в ямке на шее, где расходятся ключицы, и выходил тёплый воздух из шёлковых мехов.

– Ты меня спасла...

– Я твоя спаська... Я уже не хочу спать. Мы поедем за соком?

Она подошла к окну. Медленно погасли последние окна в доме напротив, и она спросила своим смешным хваточком:

– Они... заснули?

Горел свет в пустом ночном магазине, поворачивал на перекрёстке «спринтёр», и свет играл в прозрачном жезлике на левом углу его бампера.

– Зачем эта штука?

– Парковаться легче.

– Как волшебная палочка. Давай её отломаем. И я тебя заколдую. Будешь такой, как вначале.

– А какой я был?

– Тихий такой, внимательный. Всё рассказывал...

– Про «баклажан» рассказывал?

– Про какой «баклажан»?

– Такое сферическое зеркальце на толстой ножке, оно на праворуких джипах стоит на левом крыле. В него бампер видно. И крыло.

– И что?

– Тебе его тоже нужно... отломать.

– Зачем? Смотреться?

– Спаська должна сидеть на горе и держать в одной руке стеклянную палочку, а в другой сферическое зеркальце.

– Теперь я знаю женщину твоей мечты: прогонистая блондинка с красивым животом, а в руках запчасти от японской машины. Ты увёз мою куртку. И я замёрзла.

– Она в багажнике.

– Так далеко?

– Подальше положишь... поближе возьмёшь.

– Знаешь... Когда я уеду, ну... ты не волнуйся. Считай, что ты просто положил меня подальше. Ты положишь меня подальше?

– Только не сегодня.

Она погляделась в зеркало и кого-то поцеловала, втянув щёки, но он больше не ревновал к этому поцелую. И она гляделась, сверяясь с одному ей ведомым образом, сливаясь со своим взглядом, и складывала губы вперёд, и прищуривала глаза, чтобы не потерять настройку... Чтобы ещё больше шла её жизнь.

Сам он, наоборот, лучше жил, когда забывал о существовании себя как предмета, имеющего очертания, и всегда удивлялся, когда ему их возвращали. И намного свободней существовал в виде глаз, и от этого казался себе невидимым и всемогущим.

И чем тише он дышал, чем спокойней лежал на скалистой

плоскотине над океаном сущего, тем таинственней молчали в базальтовых вёдрах каменные глаза. И огромней проступали смыслы событий, течения судеб, и яснее обозначалось непосильное дело жизни, постичь которое можно, лишь перестав с ним тягаться и теревить женскими вопросами. И что впрягаться и нести свой крест надо с великой правотой и покоем на душе, расслаиваясь, плывя над собой и постигая чудо земной жизни уже совсем другим, далёким и надоблачным взглядом.

Потому что правила существования на земле неисповедимым образом связаны с огромностью пространства, а время лишь подсобное условие протекания жизни. И если мы хотим хоть что-то разглядеть сквозь ненасытную войну за существование, то нельзя ни на секунду ослаблять этого высотного ока – только тогда жизнь простит и подпустит, единственная и вовеки твоя.

Шло к осени, и всё сильнее наливались дали синевой, и все долины и котловины между горами были напитаны ею по края. И так же по края был Женя налит любовью и счастливой виной и перед этими далями, и перед Машей за то, что и у неё забрали в залог что-то главное.

Он запомнил пьянящий холодок их последнего дня и запах её плаща, холодно синтетический и дорожный. И дождь, который всё покрыл, сначала тихо пальпируя крышу белой «кресты», а потом обрушился твёрдым дроботом и укрыл стёкла таким толстым водяным одеялом, что пришлось остановиться, и ему хотелось, чтоб дождь не кончался. И в номере он снимал с неё плащ, и волосы были влажными, и большие губы откликались ласково и чутко... и виднелся из окна гостиницы горный берег и мокрые скалы в пелене дождя.

В аэропорту она отдала письмо. Он всё ещё сидел в машине и, когда, взлетев мощно и круто, самолёт набрал высоту и успокоенно исчез в синеве, открыл конверт:

«Милый Женя, пишу то, что не сумела тебе сказать, когда ты был рядом. Прошло много времени с того утра, когда ты рассказывал мне про кедр и орлана с двумя головами. Ты говорил со мной, будто мы были одни на белом свете. Так со мной никто не говорил. Я не знаю, что будет дальше и сможем ли мы вынести

ту ношу, которую на себя приняли. Любую женщину можно завоевать, если ты веришь, что тебе это нужно. И против этой веры ничто не устоит. Когда тебя нет, я скучаю, а когда с тобой, хочу тебя переделать, но почему-то переделываешь меня ты. Моя жизнь стала другой. Ты покорила меня своей безоглядностью, тем, что ты всё придумал – и твой Енисей, и эти машины. И меня.

Ты учишь меня любить. И я хочу верить, что всё в наших силах и что ты ещё долго будешь провожать и встречать меня на твоей машине с крестиком на мордочке. Когда тебе будет грустно, вспоминай, как я смешно говорю. Я люблю тебя.

Твоя Маша».

Он ехал и сквозь туман видел дорогу, и рядом шёл по Енисею на Север в последний рейс танкер «Ленанефть». И лил дождь, и за идущей впереди фурой стоял плотный водяной шлейф. Обгоняя, Женя вошёл в тугое облако отбоя, и машину охлестнуло твёрдо и упруго, и дворники не справлялись, и снова шёл дождь, и стекло было в водяной плёнке, и под ветром она расплзлась на дрожащие щупальца.

Маша несколько раз уезжала за границу и из Канн прислала открытку, которую Настя отдала молча и опустив глаза. Звонил он почему-то, когда Маша проходила паспортный контроль, или обгоняла кого-то на забитой дороге, или вела переговоры. Ложился спать, когда она только заканчивала

работу. Иногда Маша выключала телефон или не подходила. Жили они с Григорием Григорьевичем в двух непонятных смежных квартирах, и постичь всё это издали было нельзя, и он верил лишь её голосу.

Прошлое всегда доходило до Жени с отставанием, через мёртвое пространство. Так он и жил, и, как звук самолёта, шла за ним полоса освещения, и всё, что попадало в луч памяти, озарялось с режущей ясностью.

Уже давно прошёл шок от физического разъятия, и отошедшая душа болела глубинно и неизменно. Пережитое по дороге в Енисейск после ссоры в суши-баре казалось детским лепетом, потому что Маша была тогда рядом, в защитном поле Енисея. Теперь из телефона обдавало таким неподъёмным расстоянием, а от её голоса такой властью той, другой жизни, что звучал он сквозь эту власть, родной, тёплый и с каждым днем слабеющий. Женя засыпал в его тепле, а утром с магнитной точностью стояли все неразрешимые маяки жизни.

Как ни раздражала его Настя тем, что любит. Как ни бесило испуганное, косулье, выражение её глаз, губы, неумело накрашенные ярко-розовой помадой, только подчёркивающей Настину белесую рыжеватость, жалкие веснушки... и эта бессильная бретелька в разрезе кофточки, и то, что от неё пахло манной кашкой...

Как он ни капризничал, ни пытал её терпенье, видя, что гибнет, рушится она в каждом слове при его появлении... и

как ни ревновал к её тихой силе, так и не мог вырезать Настю ни из осеннего Енисейска, ни из своей жизни, в которой она шла своей боковой, святой и светлой, дорожкой.

Окна почты были убраны теми самыми наличниками, которые Женя называл сибирское барокко, с такими плавными, необыкновенно плотными, цельными линиями, что иссохшая зелёная краска их и не портила.

– Тебе письмо.

– Спасибо... Это от Андрея... Он в Бурятии... Настюх, а ты что сегодня вечером делаешь?

– А что такое?

– Ты можешь помочь мне разобрать письма?

– Ну... могу. А разве у тебя их так много?

– Да нет, не много...

– А когда?

– Сегодня часов в семь. Я заеду.

– Не надо. Я сама.

В семь часов пришла Настя. Женя не очень убедительно достал коробку с письмами, какие-то верёвочки, чтоб их перевязывать. Они сидели на полу вокруг коробки и раскладывали письма по кучкам. «Это братья, это налоговая...» Когда Настя наклонялась, в разрезе кофточки белела бретелька. Минут за десять все письма были разложены и перевязаны.

– Давай чаю попьём. У меня торт есть... Вина вот хочешь?

– Нет, спасибо, лучше чаю...

– Что у тебя на работе?

– Да всё то же самое... Почему ты так мало сахара ложишь?

– Не люблю, когда сладко.

– А я люблю, но тоже мало ем.

– Почему?

– Здоровье берегу.

– А зачем?

– Как зачем? Чтобы жить дольше.

– А зачем жить дольше?

– Ну, чтобы... спасти кого-нибудь. Ты какой-то невеселый...

– Знаешь, вот Андрей пишет, насчет спасти. Помнишь, тогда мы все проезжали вместе с режиссёром? Такой большой, в очках...

– Да, у него глаза зелёные... помню... С женщиной...

– Ну, в общем, этот Григорий Григорьевич написал текст к их фильму, и когда Андрей его прослушал, там столько всяких, ну, неправильностей оказалось... и ничего не сделать, потому что хоть Андрей всё придумал и привёз его, а тот теперь главней и Андрей ничего не решает.

– А что там неправильно?

– Ну выходит, мы тут все анархисты и язычники. И ты, и я, и брат Михалыч... Ему, наверно, кажется, так острее, а может, выгоднее, и он никого не спрашивает. И главное – нас спасти надо от кого-то. Что ты скажешь?

– Себя пускай спасает.

– Вот мы с этого и начали.

Настя поджала губы и сидела, ковыряя ложечкой кусочек торта. Потом подняла на него большие синие глаза. Накипала дикая пауза, и надо было встать и поцеловать Настю. Но где-то в другом месте взошли тучи, и на лице его стало темно, и внутри всё кривилось, расплзалось и чернело, и весь белый свет смотрел на него в упор.

На столе остывала чашка чая. На её поверхности лежал пенный квадратик. Настя вдруг встала и быстро пошла к двери. У порога она обернулась:

– Тебе бы к бабушке.

*Я пошёл к Батюшке Енисею. Север, низовой ветер, поддерживал волну встречь течению, она стояла на месте, и от этого был особенно редкий, струящийся и почти недвижный вид. Будто жизнь остановилась на перепутье и не знала, как поступить с нашими наболевшими судьбами. Расплавленное олово медленно переливалось и опадало:*

*– Болит? Я кивнул.*

*– Должно болеть.*

*– И что делать?*

*– Ехать. Приезжай только. Здесь без таких нельзя.*

*– А она?*

*– Ты же всё знаешь без меня... Но понимаешь, почему отпускаю тебя?*

*– Почему?*

*– Потому что это любовь, и пока тебя всего не выпьет, ты человеком не станешь. Она же была твоей спаськой?*

*– Была.*

*– Ну вот. Канистры есть запасные? Бери штук пять, в Тюмени заправишься под завязку, там дешевле. Ну всё. Не гони только.*

*– Хорошо.*

*– Там под Казанью мост... На мосту стоять нельзя, но ты этот камешек возьми и кинь... Она тоже сюда не по-*

*ехала.*

*С ночи перед дорогой не спалось, и я долго смотрел телевизор, но, едва стали слипаться глаза, выключил, чтобы не заснуть с едким отсветом на лице, не напиться чем попало слабеющую душу.*

*Ранним утром ходил в монастырь. Пожилая женщина в платке и плаще выбралась из старого автомобиля с сухим полевым букетом и, трижды перекрестившись, поцеловала холодные ворота. Виски у отца Севастьяна были прозрачными, как енисейская вода, а глаза видели насквозь.*

*Вечером прилаживал душу к мокро блестящим улицам, к дождю, шуму редкой машины, примерял, как к старшим братьям, заряжался негромкой их правотой. От этого легко, спокойно, навеки на душе становилось, и казалось, всё, чему произойти, уже отлито, отпечатано, и холодит застывающий оттиск дождь.*

*Машина, белая «креста», стояла, снежно светясь, возле опустевшего дома. В кармане похожий на огромного и прохладного жука овал сигнализации сам лёг в ладонь. Машина отрывисто и музыкально спела, цокнула, будто белка в гулком лесу, сверкнула длинными фарами, ослабилась дверями, как сдавшаяся женщина. Я завёл белую красавицу и, выставив на крышу рыжий леденец с шашечками, подъехал к автовокзалу, успев заметить, как шевельнулась в Настинном*

*окне занавеска.*

*Через четыре часа я был на федералке.*

*Название мотеля «808-й километр» означает расстояние до Новосибирска. Перекусив, я всё-таки решил их подождать 79 и, выехав на трассу, встал на обочине. Кормой на восток и капотом на запад.*

*Пошёл снег. Я взглянул в зеркало: сияя фарами, приблизилась колонна: «исузу-эльф», «хонда-одиссей-абсолют», «ниссан-газель», «сузуки-фронт», «мазда-капелла» и «той-ота-аллион» по кличке Алёнка.*

Там, где кедр с обломанной вершиной  
Над седой стеной монастыря,  
Где встаёт над мокрою машиной  
Сизая осенняя заря.

Как в огромной выставшей квартире,  
Где по стенам солнечные швы,  
Я живу в пустеющей Сибири  
И люблю Марию из Москвы.

В головах Саянские отроги,  
Енисей вливается в висок,  
Руки, как огромные дороги,  
Пролегли на запад и восток.

В каждой я держу по океану,  
Не испить, не слить, не уронить,  
Как же мне, разъятому орлану,  
Самого с собой соединить?

Снег идёт задумчиво и косо,  
Головы застыли на весах,  
И бессонно крутятся колёса  
В головах, машинах и часах.

Помнишь, Маша, снежные равнины,  
Облаков тяжёлые гряды,  
Лошадей заснеженные спины  
И костры мятежной слободы.

Помнишь синеватые рассветы,  
На окне морозные цветы,  
Розвальни, телеги, лазареты,  
Отпеванья, свечи и кресты.

Помнишь, как ты плакала с причала,  
Как ждала, безногого, с войны,  
Как меня с тобою разлучала  
Полоса взбесившейся волны.

Как ждала годами из острога,  
Как крестила с берега в Крыму,  
Как меня последняя дорога  
Забирала в ночь на Колыму.

Помнишь суету у вертолёта,  
Как белели пятнами снега,  
И сверкали зеркалом болота,  
И дрожала синяя тайга.

Как возили письма на оленях,  
Строили дороги и мосты,  
Как над океаном на коленях  
Я стоял, слепой от красоты,

Мы прошли сквозь столькие разлуки...  
Что же между нами пролегло?  
То ли деньги высушили руки,  
То ли небу выбили стекло,

То ли ничего не происходит,  
То ли одинокий человек  
В своём сердце больше не находит  
Отраженья гор, морей и рек.

То ли что-то главное забыто,  
То ли тебе правда всё равно,  
То ли мира спятившая бита  
Выбивает слабое звено.

Снова выезжаю на дорогу,  
Всё, как прежде, дали и снега,  
Снова ночь. И снова внемлют Богу  
Океаны, горы и тайга.

Под капотом тихо и бесстрастно  
Пьёт мотор ночную синеву,  
Звёзды светят холодно и ясно  
Над землёй, которой я живу.

На душе старинная тревога...  
И опять заправка, переезд,  
Дробь колёс и дальняя дорога,  
Как «корона», «креста» или крест.

На дороге сумрачно и сыро,  
До Урала близко, и уже  
Белый «марк» работы Кунихиро  
Не прижмёт плавник на вираже.

Стрелки лобового циферблата  
Расчищают память, не щадя,  
И мешают зарево заката  
С пеленой холодного дождя.

Снова ночь над лесом и степями,  
И под синим маревом светил  
Кажется ненужными словами  
Всё, что я тебе наговорил.

Леденеет крестик на решётке,  
Свет восхода льётся в зеркала,  
И считают вытертые щётки  
Километры мокрого стекла.

Больше нет ни юга, ни востока,  
Только ветры стылые сквозят.  
Маша, ты всё так же одинока,  
Как и триста лет тому назад.

Ну чуть-чуть... Ну еду... Ну немного —  
И споют под утро тормоза.  
Почему ж так пристально дорога  
Смотрит в запотелые глаза,

Что за непосильная забота  
Сводит переезды и мосты:  
Впереди огромные ворота,  
И открыть их можешь только ты.

Ты открой, и стихнут ураганы  
Над моей двуглавой головой,  
И тогда охотские туманы  
Встретятся с балтийской синевой.

И над этой слившейся пучиной  
Я замру, ни с кем не говоря,  
Словно кедр со сломанной вершиной  
Над седой стеной монастыря.

# Часть 2

## Крест

### Глава 1

#### 1

– И он специально уехал... в Тайланд... чтобы тебе было где жить?

– Да нет. Просто так получилось...

– Хорошо, что так получилось... Как ты ехал?

– Я отлично ехал. Только от Уфы дорога такая, что... ездой это не назвать...

– Я не представляю... По-моему, это так тяжело...

Мы ездили однажды на юг... Я так устала...

– И ты с тех пор такая... усталая?

– Хм... Наверно... Я чуть-чуть посижу с тобой и пойду... извини, что я тебя не приглашаю... У меня такой беспорядок... Ты не сердишься?

– Я не сержусь... А я твой дом по-другому представлял...

– А меня? Ты представлял меня?

– Я представлял...

- Как тебе город?
- Большой... Ты чужая...
- Ты тоже... какой-то... дико...
- ...шарый?
- Хм... Что за слова у тебя...

В проёме переулка, в чёрных воротах зиял ночным золотом проспект – сияющий квадрат с мазаниной кузовов и красным прочерком габаритов. Женя ещё достывал, доходил, полный остановки, и некоторое время дорога стояла вокруг машины, хранила снежным облаком, синей пылью, но и она уже опадала, стекала каплями с порогов, с шипящего глушителя.

Брешь, сквозь которую он ворвался, недолго сквозила иным миром и тоже зарастала. Шатучими стеблями, хрустальными початками обступили огромные сооружения с прозрачными сотами. Синие ячейки то висели во тьме, то зияли неровными пропусками и снова нарождались в ненасытной высоте безо всякой опоры. И над ними гранёный шпиль сизо тлел в перекрестье лучей, а один сорвавшийся луч одичало шарил по облакам, чертя спиральный след.

Женя едва не потерялся на забитых фурами подступах к городу в бескрайних пространствах складов, магазинов, огромных, как аэропорты, где неразличимы были стороны света и куда не добивали радары пространств. Не было никакого течения, никакого уклона к окраине и густения старины к центру, всё казалось одинаковым на многие вёрсты,

и везде царила затрапезная ничейность мировой провинции. Хотелось воздуха, но едва Женя приспустил стекло, как обрушился на него слитный гул миллиона колёс, стоящий над городом, как отзвук битвы или великого переселения. Отраженный небом, он оседал реактивным грохотом, и вековой усталостью давило от этого молодого ещё наката. Это было другое одиночество, и это был её город.

Маша была рядом, и всё укладывалась за плечами, остывала дорога, меркли дрожащие огни Уфы, тягуны Урала с чадящими фурами, газовые факелы Тюмени. И телефонные службы, всякие «Сибчеленжи» и «Уралтелекомы», больше не передавали его друг другу, не всходили планетами на ночном экране телефона. Только стоял перед глазами отторгнутый городом, летящий навстречу брат чёрный «цельсиор»<sup>2</sup>, двадцать четвёртый регион. Жека сверкнул ему фарами, и тот ответил и ушёл в чехле мокрой и мятежной пыли.

Расстояние, которое он наматывал дома за четыре рейса, теперь было другим по содержанию, и белая «креста» гляделась окрепшей и постаревшей на четыре тысячи вёрст, будто каждая тысяча требовала настройки, имея свою частоту жизни и свой привод к звёздам.

Звёздной взвесью по чёрному глицерину, жидким кри-

---

<sup>2</sup> «Цельсиор» – при въезде в столицу Женя встретил «тойоту-цельсиор» с красноярскими номерами. Встреча эта крепко поддержала Евгения. Да и автомобиль этот и впрямь великолепен. Разработав его для себя, японцы не удержались и начали поставлять его за границу, назвав «Лексус-430».

сталлом, тугим и плотным гелем сходиллся над Женей город. И приникал влажным контуром её профиля, шорохом длинного пальто в крупных складках, охватывал её стан светящимся поясом. Озарял чуть приоткрытый рот и лицо, которое в последний момент обмануло, отклонилось, и губы его оступились. И вдруг перелился в её очах, когда она нежно приблизилась, и чуть прихватила, укусила его ниже глаза, за угол лица, выступ костяка. И он перестал душить, этот город, и снова Женя почувствовал себя заправленным и крепко вставшим в дорогу, будто вернулся в себя после долгой разлуки.

Но как ни несла его белая «креста», стелясь по дороге, его трёхдневный полёт по битому асфальту не был приближением, и главное приближение только начиналось – в несколько кругов, заходов над новой полосой жизни, небывалой и чудной... И этот город, стальной, гранитный, стеклянный, теперь стоял послушно за Машиной спиной и уже не леденил, а приникал вкрадчивым, ласковым, женским. И нежным тоном, успокаивающим кремом ложились слова:

– Я оттаю... подожди... не торопи меня...

## 2

Ночью вдруг позвала-вспела усталая «креста» и сонно замолкла успокоенной белой птицей, едва Женя подошёл к окну.

Дом кораблём рассекал трассу на два проспекта, и они обтекали квартал с ломовым грохотом. Сейчас, в тихую передышку, трасса отзывалась понятно и породному – раскатом редких фур, ночной далью, дорожной святой усталостью. С шести она зазвучала во всю мощь, а к началу дня машины двигались плотно и загустело.

Просыпаясь, Женя затерялся меж сном и жизнью в секундной беспилотной паузе, и дорога тут же подхватила его, и он очнулся ещё слитый, сросшийся с ней в одной заботе, но когда дошло, что не надо никуда ехать, вздохнул и долго лежал, насыщаясь покоем. Как бывает на новом месте, и сам чуть новый, встал и, расслабленный, смотрел в окно на модельки машин, а потом вышел на тёплый, не зимний ветер и бродил, изучая окрестности, карту жизни – расклад магазинов, заправок, павильончиков телефонной оплаты... Снежок был легкий и лежал так, больше для вида.

Свеже набросился на Женю город, чуя его непривитость, зрячесть. Обступая, поглощал лишь ближним посильным куском, будто ограждая от непомерности дымных просторов, и был огромным прибором, шкалой, отдаваясь каждым Машинным движением.

Женя купил домашние женские туфельки – розовые, чуть ворсистые, со сплошным копытцем-каблукком, высокой и лёгкой кормой.

Ближе к вечеру проехал к центру, и там сверкающий ледоход протащил его несколько светофоров, пока он не вы-

рвался, ослеплённый, в боковой проулок.

Сияло всё, словно город пытался продлить-заменить иной свет, иной простор. Мостовая в густых лучах фар, струящихся жилах, кругло выющаяся в них мокрая пыль. Со встречной полосы слепящий, как сварка, ксенон, и вдоль набережной громадные дома, похожие на торты, песочные, с бордюрами крема вдоль карнизов. На фасадах тоже свет, бьющий с подножия и с каменных полочек: не то фарам не хватило места, не то мостовая встала на дыбы... И в тех же фарных снопах терем с резными башенками, и толстый шпиль по пояс в туче с рыжим отсветом. И река в сале огней, заплутавшая в ледоставах и ледоходах, вся в полуталом перепутье...

Маша вошла, ворвалась с пакетом, с какими-то роскошными календарями... Волосы уже не лежали пластом-монолитом, а нежно оведали лицо светлыми серпами. Сбросила ему в руки пальто. Сняла сапоги, опавшие чёрными лоскутами, маленькие матовые ступни, не глядя, вложила в туфельки, переглянувшись с зеркалом... Резкая, чужая, полная электрического угара, вся в его судороге.

Некоторое время из неё разрядами выходил город. Ожесточённо листала журнал, сидя за столиком... Лицо холодное, в напряжённых стрелках, углы рта надменно опущены, глаза то и дело прищуриваются. Отложила журнал, чуть приоткрыла рот, кончиком языка тронула верхние зубы... Часто заморгала веками, будто что-то пролистывая, глаза подняла вверх, почти закатила. Запел её телефон. Ответив что-то

короткое, некоторое время смотрела в него, убеждаясь, что звонивший и вправду скрылся, следя, так ли стихают круги...

В телефон она всё время взглядывала, как в навигатор, словно они куда-то ехали. Он был уже другой – не с халцедоновой крышечкой, а тончайший, в тяжёлую плитку, в пласт чёрного мрамора с прожилью металла. С глянцевой верхней плоскостью, прозрачной кожей, под которой цифры встлевали нажатием пальца. Оживал цветными светляками, и она отвечала отрывисто и собранно, а раз задумчиво вглядывалась в номер и так же задумчиво прервала звонок. Продолжая что-то выщупывать в телефоне, не глядя на Женю, спросила:

– Да... Ну что? Мы будем говорить?

– Будем, конечно...

– Начинай!

– Маш...

– Ну? Я жду. Начинай! Что? Я сказала... смешное? – это была почти улыбка: где-то вдали в огромном трансформаторе ослабили напряжение. – У тебя есть ножницы? Сейчас я тебя буду стричь. И газета? Снимай рубашку. Слышишь? Так... Ты не слушаешься?

Совсем близко было её лицо, её улыбка, которую хотелось пригубить, выпить, а она смотрела куда-то выше, на ножницы («mmm... подожди»), и снова звучал её носовой смешок, лицо приближалось, и губы дразнили.

– Что у тебя на ужин? Почему ты так говоришь, ну как-то грубо... р-р-р... Как мужики... Которые на охоту поехали... Ну не грубо, а как вы там говорите... Так по-мужски очень... Ты отбился совсем от меня... Тобой надо заняться... Ты почему рычишь? Ты... не дрессированный? Ты... надолго приехал?

– Надолго, месяца на два...

– Хорошо... Почему ты шуришься? У тебя что-то с глазами?

– Они никак не привыкнут...

– Сегодня такая пробка была... Я уже хотела вернуться...

– Я бы тогда... тоже вернулся...

Глаза не привыкали, и всё было оливо её появлением, и снова медленно открывалась дверь, и она стояла в проёме, и всё всходила, лучилась её красота, дальним светом била на вёрсты вперёд, текла-сияла в лице, не схватываясь памятью.

Легко и попутно несла каждая черта свою долю, зная, что не подведёт – ни на талии знобящее разрежение под жакетом, ни шея в чёрном ошейничке, ни предгорье груди под сизым газом, влажным туманом, отекающим тело. И он что-то мямлит коснеющим языком – не человек, а неуклюжее дитя, ждущее участи. И двигается нервно и зыбко, а на плече дальний груз, неподъёмная синяя рельсина, и если пёрышко дрогнет на том крыле, то на этом его ошатнёт на полгорода. Но сейчас и рельсине не по себе, и самые сизые дали в смятении, и в тревоге гонит ветер-хакас снег с песком, и

мешкает в снежной завесе перевал Кулумыс – девять петель серпантина.

До последнего не знал Женя, как решит она его огромную участь, поступит с ним и со своей красотой, сольёт их или нет в одну реку. Полноводную и главную, сияющую на солнце и входящую в берега в свой черёд, когда взор, привыкнув, уйдёт, уведёт воду в другую даль. Но ещё стояло над жизнью её спящее лицо в двери, и трепетали пряди-серпы, и нежно дышало из приоткрытого рта мятной безбрежностью.

И снова где-то за гранью яви перемкнуло контакты ясной дугой, и засияла уже великая, поднебесная красота, чистая и холодная, как река в начале зимы: синезелёная кристальная вода, алмазный снег на камнях крепкими шапками и донный лёд – по синему гелю – крылатыми пятнами, не то скатами, не то облаками. И ясность эта стояла рука об руку с Машинной, одной породы, замеса, и была родной и эта смежность, и прозрачность этих сообщающихся сосудов. Теперь красота, переполнившая Машу, оттекла в обратную сторону и озарилась ледяной водой, зимним небом, чуткой далью, ждущей участи.

– Совсем чуть-чуть... Я же за рулём. Вина вот этого... хм... Вкусно... ты молодец. Здесь сумасшедший дом... Ну... с приездом тебя... Я... рада...

Кожа её чуть порозовела, глаза оттаяли, покрылись нежным сальцем. Губы тоже отошли, дрогнули навстречу.

– У тебя есть простынка? или вот рубашка? Я... пойду...

Ты меня подождешь?

Он лежал, закрыв глаза. Спрессовалось в один поющий отрезок – дорога, Красноярск, Владивосток и синий Океан над авторынком – белым крошевом машин, смесью яичной скорлупы с битым стеклом... И тихая нежность квартиры и этого почти ручного города, его мякоть, губка, под которой и он уже начал оттаивать, отмякать. И смуглый свет из прихожей, и напротив ванной китайские висюльки, гильзочки, похожие на косо нарезанную медную флейту, которые она, проходя, трогала, улыбаясь, и они переливались музыкально и тонко.

Сейчас они молчали, и не верилось, что есть ещё кто-то живой под этой крышей, и Женя то глядел на свет из прихожей, то слушал простор квартиры со своей жизнью, своим дождиком. Он шумел волнами, то нарастая грубо, как в непогоду, то тихо и ласково. И было так тихо и тепло на душе, что побежала навстречу освещённая фарами дорога в трещинах и рытвинах, как вдруг дождь резко перестал. Что-то щёлкнуло. Нежно спели гильзочки.

Он так и не понял, за что вернули ему рот с блуждающей мятной жвачкой, плечи, поясницу, холодную и чуть мокрую, уши с ледяными колючками серёжек. И почему его рука дрожит, растапливая мурашки, обходя, проверяя все излучины, долины, прохладные белогорья, почему он сам никак не обляжет их, в них не отольётся, замерев, возвратив равновесие материков, магнитное счастье...

– ...Не спеши... – шепнули ему в губы хакасские ирисы щекотным ветерком, – я от тебя отвыкла... Да... Я сначала не могу отвыкнуть, а потом... не могу привыкнуть. Не могу привыкнуть, когда тебя нет, потом не могу привыкнуть, когда ты есть... Ты знаешь, иногда кажется, проще, чтоб... вообще ничего не было... Ты скучал?...

Белые серпы шёлково рассыпались по её лицу, рот проступал сквозь них влажным очажком. Шёлк попал в поцелуй, она выдохнула через нос своим смешком, медленно и сосредоточенно убрала рукой светлые пряди, волокнистые облака... Расчистилось, как небо, лицо, и губы расплавились, растворились. Нежным крылом облегло-опоясало его прохладное бедро.

Он не знал, куда она рвётся сквозь ветер, тугой, нарастающий, и всё ближе было её лицо с закрытыми глазами, с откинутыми волосами, обтянутое, обжатое крепчающим потоком, летящее ближе и ближе...

Порыв залёг. Красота устала и покоем разлилась по Земле.

– Полежи... так... Как ты жил? Я, свинка, так тебе и не написала... ну... как ты просил... ручкой... Но ты не расстроился? Зато тебе, наверно, твои пассажирки пишут письма? Хм... А та девушка с почты их читает и злится... Я уверена, что она их читает... хорошо, что я не пишу тебе... А если бы писала, представляешь, что бы было? Ты приходишь на почту, а она всё знает, и ты переживаешь, потому что всё равно

держишь её... про запас... Ты держишь её... про запас?

– Ты так смешно говоришь «про запас»...

– Наверняка вы с ней меня обсуждаете. Ты же любишь... всё обсуждать. И не может быть, что у вас ничего нет, раз она так рядом с тобой живёт. Она же тебе нравится.

– Мне такие женщины не могут нравиться.

– А какая она? – Маша, улыбаясь, нависла над ним, внимательно качая головой, щекотая, подметая шёлковыми серпами его щеки, глаза... – Говори...

– Ну такая бледная, в мелких веснушках, крапинках, как манная кашка... и краситься не умеет...

– А если б умела? – Она что-то медленно и внимательно чертила приоткрытым ртом, мягкими губами на его лице. – Как ты с ней познакомился?

– Она раньше в библиотеке работала. А когда её закрыли, на почту пошла. У нас напротив почты огромная лужа есть. После дождей она разливается так, что машины еле ползут. И вот я еду, а у лужи стоит девушка в красных туфлях и машет рукой. Я остановился: «Вам куда?» А она: «Перевезите меня, пожалуйста, на тот берег».

– Она так и сказала «на тот берег»? Глупо... Да... А мне так трудно было... Но теперь ты рядом... У тебя ужасные ботинки... Тебе нужно одеться. У тебя есть деньги? Мы съездим и купим тебе ботинки... Я тебе всё скажу. Ты будешь слушаться? Я полежу полчаса и поеду, ладно?

...Он проводил её вниз. Она шла к лифту медленно и расслабленно. В лифте внимательно поправила ему ворот, подняла лицо, мягко и широко раскрыла губы.

Всё было в снегу – ступеньки подъезда, дорога, и машины казались больше, пухлее. Она улыбнулась, с улыбкой села в машину, протянула щётку: «Ты почишь... с боков?» С резким и певучим присвистом, как провода в мороз, сработал стартер, подхватился двигатель, зарокотал выхлоп. Включились фары.

Переднее стекло покрывал снег, и оно казалось ослепшим. Заработали дворники и открыли Машино лицо, чужое и напряжённое. Она равнодушно кивнула и выжала сцепление.

### 3

Розовые туфли стояли опустело и косолапо. Пахли духами подушка, рубаха с подвёрнутыми рукавами, и поражало, что ещё несколько минут назад Маша была рядом, а теперь всё зияло её отсутствием. И исключали друг друга два этих мира, и не верилось, что их прожил один человек. Часов в двенадцать позвонила Маша:

– Привет.

– Привет. У тебя голос... наконец... такой, как раньше...

– Просто у меня до обеда выходной, и я выспалась... Я была в спячке.

– Хм... Я читал книжку про медведей... Про их жизнь... Ну там сначала вокруг да около... в общем, рассказывается, какие они могут быть...

– Опасные? – быстро спросила Маша своим говорком.

– Да. Ты первый раз так сказала...

– Как так? Как ты любишь?

– Да. Так... проворно...

– Как будто я хочу тебя поймать?

– Да. Про что я говорил? Про медведей... Про их...

– Недостатки...

– Хм... Да... Как они после берлоги в чувство приходят, отъедаются корешками всякими, шарятся по берегу, едят пучку...

– Что-о-о едят? – осторожно спросила Маша.

– Пучку... Траву такую... и как солнышко пригревает на косогорах. А потом описываются разные медвежьи дурачества, как они на щепе играют, ну и прочее. И подводится итог: сытый и отдохнувший медведь в общем... очень веселый и добрый зверь.

Раздался знакомый и тёплый носовой смешок.

– Хм... Да. А что ты собираешься делать сегодня вечером... совсем поздно?

– Не знаю...

– Я хочу пригласить тебя в гости... Мы... поужинаем? – и совсем тихо: – Ты приедешь?

– Я приеду.

– Теперь ты понимаешь, что такое сытый и отдохнувший медведь?

Он поехал на метро и, жадный на лица, путешествовал по ним, теряя дорогу и путаясь в пересадках, коридорах и галереях, переходящих в сверкающие палаты со стеклянными эскалаторами, фонтанами и кофейнями.

Он сел в тесный вагон, где ехали пластиковые девушки с густым и розовым загаром, глядящим из-под стыков штанов с куртками, которые угловато расползались, и съехавшие брюки открывали жёлтое пузико с колечком в пупе... С химическими волосами, будто мокрыми, склеенными то в твердые прядки, то в мелкую волну, то стоящие лучиками, жёлтыми с концов и тёмными к корням. С веками, то покрытыми густой серебрянкой, то салатовыми, как крылья капустницы, с неровной и шершавой пылью. С цветными губами, щеками, телефончиками. С приклеенными ноготками, то синими, то чёрными, то в точку, под божью коровку, а у одной, красавицы со снежными волосами – задумчивой и длинноногой, – льдисто-зелёные в крошечку-иней. Рядом с ней подсыхал крашеным ворсом идиот в питоньей коже с обтянутыми ляжками и бритой девкой под мышкой.

Женю вынесло на пересадке, протащило в холл на водосбор, где протоки расходились, и выкинуло на другую платформу. С Машиной стороны пришёл поезд – весь в изморози и с запотевшими стёклами. Из него табуном повалили молодые люди с гитарами и валяными колбасами на головах – не

то помётом, не то погадками <sup>3</sup>, не то пальмовой корой. Потом засиял свет на рельсах, и пришёл Женин поезд. Совсем новый и квадратный, он повёз его не по той ветке в какие-то Сити, и из них пришлось выбираться...

И снова была арка и высокий дом, и искажённый Машин голос в щитке с дырочками. И еле ползущий лифт, и пятый этаж, и приоткрытая дверь, в которой она стояла, улыбаясь. И в просторной комнате большой стол с бугристым изображением каких-то морд на ножках. И два тяжких стула по его бортам – друг напротив друга.

– Сейчас я буду тебя кормить, – сказала Маша и вдруг тихо взяла Женю за локоть. – Стой... смотри.

...Увидев Женю, он настороженно пошёл по краю дивана. Потом спрыгнул на пол и вдоль стены убежал на кухню.

Тигровый, очень пушистый, с огромными, как у совы, глазами, настороженно его пожирающими, полными ужаса и недоверья. С острыми, как пламя, снопами шерсти на бакенбардах и белой грудью. Есть такие роскошно одетые коты, в яркую чёрную полосу, с дымным замесом рыжины и серости. И при этом очень гладкие, потому что протуберанцами оперены только боковины морды и штаны.

- Ты вымыл руки? Тогда садись.
- Почему он такой гладкий?
- Потому что он есть морковку.

---

<sup>3</sup> Погадки – так называются оторванные хищными птицами остатки пищи. Представляют собой сваленные из шерсти колбаски.

– Он «марковник»? – спросил Женя с надеждой.

– Ну нет. Он свой корм любит.

– Да я не этом смысле...

– А в каком?

– В смысле «марк два».

– А что такое «марк два»? Почему ты так посмотрел? Я что-то... не то сказала?

– Это такая машина.

– Да? Там? У вас? Слушай. Я забыла. Ты обиделся. Не обижайся. Я не всё забыла... Кс! Мррр, иди сюда!

– Ты забыла...

– Да... Я вспоминаю... Это так давно было... Ты мне так помог тогда... Давай выпьем за нашу встречу.

– Давай. А что, сейчас... уже не помогаю?

– Зачем ты спрашиваешь? Ты же всё знаешь... Что мне трудно... и теперь ты рядом. Как тебе мой кот? Он тебя боится.

– Он стесняется... Он отличный кот. Я разбираюсь в ко-тах.

Кот отвернул морду, почесался щекой об угол стола. Спрыгнул со стула, и его нутро стряслось мягко и коротко: «мям».

– Хм...

– Почему ты смеёшься?

– Я сегодня вез женщину с котом. И она сказала: «Он хорошая кошка»...

– Ну, если он действительно хорошая кошка? Ты всё преувеличиваешь. Как твой старший брат.

– А как его зовут?

– Девуар... Это Гриша назвал... А я его Кот зову. Не знаю, почему Девуар...

– Это государство такое. В Африке.

– Да? А я думала что-то такое... – Маша сделала летящий жест рукой, – парижское...

– А где Гриша?

– Я тебе говорила, он квартиру снимает. А эту сдаёт. – Маша показала через стену.

– Слушай, а что такое бизнес-собачки?

– Какие собачки? Откуда ты взял?

– В газете. Стал смотреть по такси, расценки... и там написано что-то вроде: стеклопакеты, девчата недорого, то да сё, да, и... салон «Дружок», интим-стрижки для бизнес-собачек.

– Ты опять придумываешь. Я такие газеты не читаю.

– А что ты читаешь?

– Вот. Ты читал? – Она взяла с буфета яркую книжку. – Это очень известное... Почему ты так пожал плечами? Ты же не читал!

– Я не могу такое читать...

– Значит, я ничего не понимаю?

– Вообще ничего не значит. Мой брат читает три книги: «На Иртыше», «Угрюм-река» и «Амур-Батюшка». Живёт в

одном месте и всю жизнь любит Нину Егоровну.

– Это *он* тебе сказал?

– Он сказал... и я знаю...

– Это слова... Слова ничего не значат.

– Слова значат всё. Просто они бывают разные. Есть слова-слова, а есть слова-поступки. А есть слова, от которых мы становимся другими. О словах надо думать.

– Зачем? – Маша медленно отпила минеральную воду.

– Чтобы видеть, как мы изменились. Мне раньше казалось, что в книгах, особенно в стихах, очень много, ну... общих слов. Любовь, смерть. Земля, небо. Весна, берёза... А потом я понял, что слова, они, знаешь, вначале, ну, как пустые бутылки. И вот эти бутылки начинают заполняться... Берёзовым соком... и открывается... тайна слова... Когда каждое столько значит, так пережито, выстрадано, такой настой смысла имеет... А сок всё капает, и кажется, ещё чуть-чуть... и весь русский язык станет таким, что ни одно слово нельзя будет произнести... без трепета... Я такие книги люблю... Давай за это выпьем!

– Ты говоришь, и я с каждым словом, ну вот... всё трепетней к тебе отношусь... Моя подруга, Вика, она спрашивает, тебе не скучно с ним, он ведь, наверно... ну... ты только не обижайся... ну... такой...

– Необразованный...

– Ну да, недоученный... чуть-чуть... конечно...

– И что ты ей сказала?

– Я лучше тебе скажу... Я хочу выпить за тебя, за твою судьбу... За то, что она пересеклась с моей... и за то, чтобы ты всегда находил слова... нужные... и нежные... и за твои дороги, которые... тебя столькому научили... Меня ещё тогда, летом, удивило... Ты вот говоришь и сначала непонятно к чему ведёшь, и я всё думаю, вот промахнёшься, оступишься, а ты всё не оступаешься... и не промахиваешься... А сейчас ты совсем другой... Ты как-то меняешься... быстрее, чем... надо... Остановись... шучу, конечно... Но я иногда, правда, не понимаю, кто ты... То ли ты не тот человек, с которым я познакомилась давным-давно в старинном городе, где то дерево... с обломанной вершиной... видишь, я не всё забыла... Да... Ты появился в моей жизни... Откуда ты?! Я не понимаю... Ты как-то... надо всем...

– Правда? – неожиданно живо и будто не веря сказал Женя. – Хм... Мне всегда больше всего хотелось быть надо всем. Знаешь, как дым... Когда так понимаешь свою землю, что хочется сразу везде быть, в каждом месте, посёлке, городе. Хотя оно и невозможно одновременно... и даже когда на машине едешь, вроде и делишь себя между вёрстами, но всё как-то кусочками... Я вот на самолёте не люблю летать – слишком многое там под крылом происходит, и когда всё это пропускаешь сквозь душу, кажется, она не выдержит...

– Что пропускаешь?

– Ну местности все, уклады, ведь в каждом месте даже литовки, ну, косы, по-разному садят... А сколько судеб... и

вроде бы летишь высоко, а какая-то твоя часть всё равно... что ли... ухабы считает. И вот чем больше пространство, тем тоньше... дым... Раньше мне казалось, что в этом моя сила, что я такой же огромный, но с годами всё трудней, ну что ли... обеспечивать это чувство... внутренне... и иногда хочется... я писал тебе... так вот лежать и чтобы ты меня... гладила по голове...

– Хм... Послушай, – Маша взглянула пристально и чуть прищурясь, – а выходит, остальные не так одиноки? Твой брат Михалыч?

– Мой брат Михалыч женился в двадцать лет. И у него полон дом детей и котов...

– А у тебя ни детей, ни котов и женщина за тридевять земель... и ты говоришь, что ты самый одинокий... А тебе не кажется, что остальные люди в сто раз более одиноки... раз... раз хотят о ком-то заботиться?

– Я об этом не думал... Давай выпьем за твой дом.

– Тебе понравился мой дом? – спросила Маша тихо.

– Очень... особенно стол... Мы сейчас попробуем твой салат, и я тебе расскажу одну историю...

– Хорошо...

– Да... Есть такая книга... Про то, как один человек захотел построить дом на стрелке двух великих рек. Ему казалось, они научат его чему-то, чего хватит на всю жизнь ему и его близким. И он мечтал о высоком рубленом крыльце... и огромном столе, за которым будет сидеть со своими друзьями...

ми и глядеть на ледоход. И он стал строить дом.

Пока он строил, он потерял любимую, потому что сначала она не хотела никуда ехать, а когда захотела, не захотел он, потому что встретил другую женщину. Эта женщина приезжала к нему в гости, и её расстроило, что сразу за посёлком начинается лес и никуда нет дороги. Об этом она писала ему уже потом... эта женщина, прочно стоявшая в жизни... Обеими ногами, кстати, очень красивыми. И ещё она писала: «Когда ты мне говоришь про осень, мне нехорошо становится. Я представляю дождь, и какие грязные ботинки у наших детей, и что всё это надо мыть, мыть и мыть»... И почему-то ему стало так грустно от этих слов, что он постарел на целую жизнь.

– И чем всё кончилось?

– Да, по-моему, ничем... такие истории ничем не кончатся... Видимо, другой женщине он был не настолько нужен. И хуже всего, что он и сам себе перестал быть нужен в этом доме. И в этом просторе...

Маша пожала плечами:

– Ну если он выбрал именно такую женщину, значит, в нём было дело...

– Именно в нём... Поэтому я хочу выпить за своего брата, который выбрал себе женщину под стать месту... и за то, что он сумел быть счастливым!

– А как называлась та книга?

– Не помню... Я иногда читаю так... вполглаза... хм...

бывает... всю строчку видишь целиком, будто издали, и так нерезко... только очертания слов. И даже, случается, взгляд вдруг чуть изменит, подправит, и ты прочтёшь уже по-своему, точнее, ярче... А потом окажется, слово-то совсем не то было... Как с Усть-Бирью...

– С какой... Бирью?

– Ну тот посёлок... Я тебе рассказывал... Он Усть-Бюр вообще-то...

– Знаешь... Мне кажется, ты не только книги так... читаешь...

## 4

Эхом, круговым гулом оживал-просыпался, раздувал огромную турбину город. Женя, подняв воротник, ходил с щёткой вокруг машины, сметал снег, счищал шершавый лёд на стекле. Тревожно, остро и зияюще пусто было на душе от неподъёмности этого города, оттого, что никак не приживлялся к нему Женя и слишком зарезался в главную и далёкую свою жизнь. Зато какими близкими, молчаливо родными приходились друг другу Маша и город, как мешал им Женя и как неуклюже жилось ему здесь, такому чужому и третьему!

Корочка неподатливо хрустела под скребком, но он добирался до стекла, и оно открывалось, кофейное, крепкое и гладкое, стремительно склонённое и выдержавшее столько

ветра, дождя и снега, что даже серебряная трещина от камня казалась родной и необходимой... Он обходил машину с кормы, глядел на фонари – большие, длинные, продольно разделённые на рубиновый верхний пласт и заиндеVELO-белый нижний. Малиновым полем с надписью «креста» они объединялись в один стеклянный монолит и загибались за бока.

Медленно, как самолёт на рулётку, выезжал Женя на боковую дорогу, и музыкой, бьющей из разных углов салона, его пронизывало, возносило временным торжеством, вытекавшим, едва смолкала песня.

Таким же временным счастьем было сиденье с Машей в кафе на втором этаже, где тихая девушка улыбалась и поджигала свечечку, а входившие молодые люди привычно здоровались и листали меню чуть небрежно, и кто-то смеялся, и кто-то показывал новый телефон, а за окном гудела бессонная полночь и сверкающей лавой текли по дорогам машины. И, вливаясь в широкие тракты, неслись, набирая ход и заходясь, как на взлёте, и дрожала земля, и фасады цвели многоцветной змеящейся сваркой. А где-то стояла ледяная ночь с мерцающим небом, и в нём аршинными звёздами был выбит вопрос: куда же несётся вся эта планета с улыбающимися девушками, городами, машинами? И девчушки не ведали, глаза их прятались, и сам Евгений молчал и мелел, иссыхая, и лишь Маша наливала его силой.

Она знала только часть этого города, куда со всех краёв

с животной тягой тянулись люди, и он, огромный, ходил ходуном от перестыка людских воль и страстей всех румбов. Рынки, окраинные ночные метро с драками, где у задраенных ларьков бродили кривошипно-шатунные личности, ночные выползки, и толпились дикие люди из кишлаков и аулов, и деловито и серьёзно убегал от ватаги мальцов негр с разбитой рожей. Всё было грубым, свеженарубленным, полным единой заботы, и поразительная понятливость царила в этом полевом стане, в этом таборе, где ещё делили землю и воду и где Женя узнавал говоры всех регионов. Где знакомые ему простые люди, лишённые тыла, грубели и, теряя свет, подчинялись лишь законам силы, в знак, что звериный век на Земле лишь начинается...

Города Женя не видел... Он видел коричневый снег под колёсами и тускло бьющие сквозь грязь задние фонари всевозможных фасонов. Ничего не было, кроме оглушительных шорохов трассы, лишь изредка за бордюром эстакады проносились в дымах знакомые силуэты – хребты, башни, луковки... Разворачиваясь и не приближаясь, они так и удалялись тенями, к которым никак не подъехать. И летели – они в одну сторону, а он в другую, вперёд и вперёд через взбитую сырость, шлёпкую взвесь, прошивая квартал, угол дома и едва не квартиру с кроватями... А если и удавалось обманом приблизиться, то знакомые громады, не открываясь, молчали сквозь отряды туристов, до блеска утюжащих вышколенный гранёный центр.

К вечеру безысходным металлом, электрической тяжестью накачивал город, сгущаясь слякотным снегом и шелестом шин, и Жене, даже не выходя на улицу, замерев и затаившись, не удавалось отдохнуть и укрыться – настолько мощно стоял за дверями прожитый день.

Несколько дней подряд он не видел Машу, и пересохла река жизни, распалась на две протоки, и обступили замершим наваждением, всеильным безветрием скитания по улицам в поисках пассажиров, пустая чужая квартира. И город, меняющий облик, в зависимости от Машиной близости, и близость вечера, и нарастающая тревога, и светофоры, трамваи, развилки рельсов, где одно Машино слово могло и спасти, и погубить, переложить блестящую стрелку. И Маша в своём неистовом колесе, летящая с работы и на работу, вязнущая в пробках и прочих преградах и говорящая о них с торжеством, как о высшей воле города, с которой она заодно.

Вечером на сияющей заправке глотками лился в бак прозрачный бензин и вздрагивал шланг, и, когда Женя вынимал из горловины сочивший последние капли пистолет, вдруг запел телефон. Женя, шаря по куртке, силился пристроить на рычажок пистолет, а телефон рвался на свет, подрагивая на груди, и, когда, изловчась, он выдрал его из тёплых потёмков, певуче и ясно взошёл над ним Машин голос:

– Привет. У меня машина на сервисе. Там опять что-то... с зажиганием... А я в галерее. Я смотрю сапоги. Ты за мной заедешь? Жду.

Переговариваясь с продавщицей, она что-то высматривала у зелёного стеллажа, где тянула гладкие побеги флаконная поросль. Весь её облик имел изначально отрицательное выражение. Простонав «н-н-ет», она еле подставила щёку, уклоняясь и почти отвернувшись. На улице возле машины замешкалась, и когда Женя её окликнул, отозвалась режущим «Чт-о-о-э?». Складочка меж бровей, и всё её раздражённое сощуренное лицо словно сопротивлялось стальному ветру, ледяной взвеси, снегу с песком, и Женя тоже попал в этот шершавый порыв.

Они шли куда-то вниз, сквозь горячий хиус<sup>4</sup> метро, спускались в стеклянные казематы, ехали по прозрачному бледно-зелёному эскалатору мимо фонтанов, а потом шли под их плеск, и кто-то ел за столиками, запивая пивом, а кто-то смотрел почти с экрана, и наносило то кофе, то каким-то пряным жаревом. Заходили в стеклянные отнорки к клеточным девушкам, и везде толпились люди, и их торговая близость была столь искусственна и бесчеловечна, что единственным честным событием стала медленно упавшая со стеллажа прозрачно-синяя косынка.

– Не надо! Подберут, – отрывисто вскрикнула Маша, будто это была змея, и вдруг улыбнулась продавщице настолько щедро и ясно, что ту околдовало на месте.

Их окружили женские туфли – предельно лёгкие, хруп-

---

<sup>4</sup> Хиус – ветер по-сибирски.

кие, с тонкими ремешками, с рюмочным взъёмом каблучков и с таким изломом легчайшего корпуса, что их невозможно было представить хоть в чьей-то ходьбе. И всё отображало одну мелодию, одно движение – щемящий взлёт Машиного подъёма...

– Ты сатанеешь?

– Так... На грани...

– Ну, стань пока в кассу.

Он вставал, налитой нелепой солидностью, против которой бунтовало его естество, дождевые и снежные силы, а вокруг смыкался игрушечный мир, и он чувствовал, как подыгрывает, как чужое, слабое налегает, когда он поддакивает или говорит с эдаким холодком, что, мол, да, так себе магазинец, не самый-то и лучший, а она наивно кивает, не ведая розыгрыша.

Были ещё залы с продуктами, и когда он выкатывал тележку на блестящую улицу, был какой-то особенно новорожденный вид у тонких пакетов, шуршащих лепестками на талом просторе, бензиновом ветерке. И Маша была изъедена, до рези напитана сыростью и в машине угрожающе цокала языком на не ту музыку и говорила своё, неизменное... Столько хотелось доверить, такая дорога брезжила впереди, а они всё не выбирались, плутали своротками:

– Я всю неделю с диким количеством людей, и всё время должна быть вежливой и думать, что сказать... неужели и с тобой надо ещё что-то вымучивать? А тебе нравится, когда

я... другая...

– Какая?

– Ну такая... Как та... Настя...

– Ну, она правда... более... мирная... Почему ты всё время про неё говоришь?

– Потому что ты... злишься... А я тебя дразню... А она, наверно, переживает, что ты уехал. Она теперь руководит... клубом обожательниц... э-э-э... Евгения Барковца... Они собираются каждую неделю, ждут тебя и варят... что там они едят? Рожки! Ты любишь рожки?

В лифте Маша взгляделась в зеркало, встряхнула волосами, аккуратно подкрасила рот:

– Ты купил салфетки? Молодец. – Она, плотно сжав, промокнула губы, подняла брови – ужас...

В прихожей мягко и безвольно опали голенища её сапог, только носы с каблуками глядели остро и твёрдо. Женя присел на корточки и, помогая попасть в туфлю, задержал в руке её шёлковую ступню:

– Холодная... Какие у тебя колготки!...

– Это не колготки...

– А что это?

– Неважно.

– Ну расскажи...

– Не расскажу. Прекрати, я сказала... Я не люблю...

– Маш, ну что это за голос такой?

– Ну такой. Прекрати...

Она тронула поющие гильзочки и другим, громким, голо-  
сом отозвалась уже из комнаты:

– У неё туфли тоже, помню, были ужасные... Такие... как  
кегли, красные, без каблучков и оббитые... Она ими так топа-  
ла... по этой почте... и ногти... С красным лаком. Тоже об-  
дупленным... Б-р-р-р. Так... Ты обиделся? Ты обиделся...  
А думаешь, мне не бывает обидно? Помнишь, я спросила,  
читал ли ты ту книгу? Какое у тебя лицо было?

– Ну если там ничего нет... В этой книге...

– Чего нет?

– Ну того, ради чего стоит читать...

– Бред... – фыркнула Маша, – почему?

– Ну это же как в шахматах. Характеры. Слон – так ходит,  
конь – так... Вот там и написано, кто куда пошёл и кого съел.

– Ну да. А тебя что интересует?

– Почему он конь.

– Слушай! – Маша отодвинула тарелку. – Что ты мне пы-  
таешься доказать? Что тебе тоже бывает обидно? Я тебе ска-  
зала – меня ты обижаешь так часто, что даже не чувству-  
ешь... Да... хотя я в отличие от тебя не делаю замечаний... А  
сейчас сделаю... Да... Я скажу, что думаю... Что когда близ-  
кий человек хочет провести с тобой вечер, старается, гото-  
вится... надо не ругать то, что он читает, а... или промол-  
чать, или... сходить в библиотеку и попросить руководство  
по... обращению с живыми...

– По обращению с живыми. Ну прости... Только это со-

всем другое... То, о чём ты говоришь, это за нас обиды... А мне-то не за себя... мне за книги обидно. Все думают, что это что-то такое, ну... в чём хороший тон обязательно разбираться...

– Ладно, – она поджала губы, сморгнула покрасневшими веками, – проехали... Мне нужна глубокая миска, и я приготовлю салат. Да. Спасибо. Ты как-то разошёлся... Не переживай так... Видишь, я тоже в чём-то разбираюсь...

– В чём?

– В тебе... и, по-моему, ты переживаешь...

– Я не переживаю.

– Переживаешь.

– Да. Я переживаю. Я не могу объяснить... Если хочешь, давай всё сначала...

– Подожди... где у тебя салфетки? Ну всё. Садись. Знаешь, давай выпьем за то, чтобы ты не переживал из-за пустяков... и чтобы как-то расширил своё поле. Ты сидишь в одном месте... А есть разные страны, разные люди. И мы с тобой собрались... в путешествие... Да? Ведь мы поедем?

– Мы поедем... Маша подняла рюмку:

– Давай выпьем за то, чтобы всё получилось... За то, что мы решили... А я буду тебя воспитывать. Ты не знаешь языков. Вот ты можешь сказать что-нибудь по-французски... или по-итальянски? Ну?

– Могу. Пред-а-порте и от-кутюр...

– Это я тебя научила. Ещё?

– Я знаю. Как по-итальянски вершина. Цима.

– Ну допустим. Ещё!

– Как по-испански молния, – гнул Женя. – А ты знаешь?

– Не знаю.

– Рафага.

– Ты уверен?

– Ап-п-солютно. А гром – труэно. А высота поитальянски? Знаешь как? Альтеза. А виста – перспектива по-испански. А карина – нежная, любящая... Ты «карина»?

– Так нечестно! – вскрикнула Маша. – Ты опять про машины!

– Я хотел тебе доказать, что они всё-таки их не придумывают. И что всё уже придумано. И что надо видеть. Помнишь, на Барлыке, Монгун-Тайгинский район, была гора, я тебе её показывал. Я там когда-то работал... ещё школьником. У этой горы была длинная и острая вершина. Такая с зубцами, лиловая и гранёная. Мы её называли Корона. За тонкий, как лезвие, зубчатый гребень... Он меня ещё тогда поразил своей вертикальностью. Я представлял, какой он узкий и как на нём трудно усидеть. Особенно в ветер. А мне хотелось на него забраться. Потому что это был очень высокий гребень и оттуда можно было взглянуть в обе стороны. Его покрывал то дождь, то туман, а когда настала осень, все зубья были в снегу, и у снега была настолько ровная граница, что все горы казались залитыми по снег прозрачайшим растворителем. И надо было ехать в школу. Тебе не интересно.

– Нет. Почему? Интересно... Ну рассказывай.

– А потом я понял, что мы неправильно называли эту гору.

Главное – не что она напоминала, а что с её вершины было видно в обе стороны... Поэтому она была, конечно, никакая не «корона». На самом деле... она была... ты удивишься... А может, ты сама догадаешься?

– Я не знаю... Ну, говори...

– Она была «креста».

– Почему?

– А ты не скажешь, что я ничего не понимаю в иностранных словах?

– Может, и не скажу, – говорила Маша с прохладной неохоткой. – Ну почему?

– Потому что «креста» по-испански... гребень.

– И что?

– А то, что есть вещи, которые или в тумане, или просто... далеко... и если близкий человек говорит тебе о них что-то важное, то надо ему или поверить... или...

– Ну, говори...

– Или попросить бинокль.

Машины глаза округлились. Губы напряглись твёрдо и собранно. Свитая в жгут, Маша дрожала, как провод в ветер. Рука сжимала, как изолятор, фарфоровую солонку. Он попытался приблизиться, расправить эти губы, сбить зуд. Холодные руки не пускали, цепко, как кусты, держали дистанцию:

– Ты считаешь, я полная дура! Пусти меня! Не трогай! У меня столько знакомых, и никто со мной так не разговаривает!

Она выбежала в прихожую, стала обуваться, вложила ногу в сапог, резко и звучно дёрнула молнию. Женя осел пробитым колесом, выдохнул длинно и опустошённо... Пропасть росла. Он был уже по сю сторону, но всё силился разбить катастрофу на кадры, понять, где ошибся. Смертной стужей дышало из бездны. Водка ненужно стояла в стопках. Он хлопнул стопку, чувствуя, как она тут же разъедается, растаскивается этим холодом и как особенно трезво, рассудочно доходит её вкус. Маша с сапогом в руке влетела в комнату:

– Ты очень не тонкий человек! Ты всё время говоришь о правильных вещах и совершенно не понимаешь людей!

Сапог висел, как плеть. Продолжая держать его за лодыжку, она оперлась им о холодильник, и он жалко сложился, свисая мягкой в морщинку голяшкой, бескрылым пластом... Сила осталась лишь в ножке со стальной нашлёпкой и в носке, словно токарем выведенном до стерляжьей остроты:

– Всё, я уезжаю! Спасибо за ужин!

Была надежда на этот второй сапог, что он почему-то не наденется или прохладная Машина ступня заупрямится, вступится за Женю, так и не узнавшего её шёлковую разгадку, не увидевшего чулок с ободком по бедру, выше которого начинается нежный пласт, прохладное гладкое поле. Но всё оборвалось. Он недвижно лежал на диване, и замирал в

ушах удар двери и отрывистый стук каблуков.

...Сколько дней прошло с той поры, как увидел он Машу, и качнулась огромная, как Енисей, плоскость, и всколыхнулась душа, без того полная жизнью, стоящая ровно и недвижно. Какой замах был в первой их встрече, какие глубины встревожило, какие пласты земли и воды зашлись в надежде и судороге... И как оба всё чувствовали и верили этому суровому тылу, как благословляли их дороги и реки, причалы и аэропорты, и какое торжество сулил этот ровный двухкрылый взлёт.

Он вспоминал, как подъезжала к Москве его белая «креста». Как несла-хранила в зеркалах отражения вулканов, портов и вокзалов, грунтовок, скальных гребёнок, зимников и перевалов, тягачей в парных плюмажах выхлопа и костров из резины среди снегов и безлюдья.

И как крепчал ветер, поднятый встречными фурами, и наваливался на машину без передыху, приближая край гигантского коромысла, где ждала его женщина, в которой плотность женского достигала такой густоты и силы, что казались разбавленными не только все женщины, но и сама жизнь, что дымным циклоном закручена вокруг неё и, сближаясь с ней, озаряется, насыщаясь её сияньем, духами, дыханием...

И снова вспоминались чулочки, о которых она говорила дня четыре назад с секретным смешком, лёжа рядом, поднимая ногу, глядя на стройную голень и оттягивая носок. А он думал, что есть места, где не нужны даже самые лучшие

ноги, а нужны лишь глаза да уши... уши да глаза... глаза... Светлые и глубокие, в которых сквозит небо льдистым проточным светом.

Одни такие глаза он знал.

## 5

Он звонил и просил вернуться, и сквозь шелест колёс, гудко изукрашенный телефоном, отзывалась и отвечала некая посредница между ним и его любимой. Так же ответственно брала она трубку и дома и даже спросила «Ну как ты?», и он любил эту чуть странную, чуть грустную секретаршу, похожую на спутник, верно стоявшую на дозоре, в то время когда главная планета находилась в гордом и горестном далеке.

На второй день переговоры продолжились... На третий ещё потеплело в космосе и где-то на далёкой орбите произошло слияние, и снова заговорила с ним прежняя Маша, только галактически спокойная, остывшая. И после долгих заходов совершила посадку на полосу. И вошла в сером пальто с поднятым воротом, с чёрным обручем вокруг головы, со снежной звездой в волосах. Улыбнулась быстро и холодно, еле раздвинув губы... Сидела за столиком, листала журнал, быстро, резко и не задерживая взгляда:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.